

М.Е.САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН



Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

Благонамеренные речи

Серия «Книги очерков»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=319972

Аннотация

«Благонамеренные речи» М. Е. Салтыкова-Щедрина (1826–1889) – это художественное исследование «основ» современного ему общества. «Я обратился к семье, к собственности, к государству и дал понять, что в наличности ничего этого уже нет, что, стало быть, принципы, во имя которых стесняется свобода, уже не суть принципы, даже для тех, которые ими пользуются». Защиту и пропаганду изживших себя «основ» Салтыков-Щедрин называл «благонамеренностью» и показал, как ложь и лицемерие правящих классов скрываются под масками благонамеренности и добропорядочности.

Содержание

К ЧИТАТЕЛЮ	4
В ДОРОГЕ	29
ОХРАНИТЕЛИ	66
ПЕРЕПИСКА	118
СТОЛП	158
КАНДИДАТ В СТОЛПЫ	207
Конец ознакомительного фрагмента.	227

Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович Благонамеренные речи К ЧИТАТЕЛЮ

Положение мое, как русского фрондёра, имеет ту выгоду, что оно оставляет мне много досужего времени. Никто от меня ничего не ждет, никто на меня не возлагает ни надежд, ни упований. Я не состою членом ни единого благотворительно-просветительного общества, ни одной издающей сто один том трудов комиссии. Я не обязан распространять ни грамотность, ни малограмотность, ни даже безграмотность; ни полезных сведений, ни бесполезных. Никто не требует от меня ни проектов, ни рефератов, ни даже присутствия при праздновании годовщин, пятилетий, десятилетий и т. д. Я просто скромный обыватель, пользующийся своим свободным временем, чтобы посещать знакомых и беседовать с ними, и совершенно довольный тем, что начальство не видит в этом занятии ничего предосудительного.

Знакомых у меня тьма-тьмушая, и притом самых разношерстных. Не забудьте, что я ничего не ищу, кроме «благих начинаний», а так как едва ли сыщется в мире человек,

в котором не притаилась бы хотя маленькая соринка этого добра, то понятно, какой перепутанный калейдоскоп должен представлять круг людей, в котором я обращаюсь. Я жму руки пустоплясам всех партий и лагерей, и не только не чувствую при этом никакой неловкости, но даже вполне убежден, что русский фрондёр, у которого нет ничего на уме, кроме «благих начинаний» (вроде, например, земских учреждений), иначе не может и поступать. В свою очередь, и знакомые мои, зная, что у всякого из них есть хоть какой-нибудь пунктик, которому я сочувствую, тоже не оставляют меня своими рукожатиями. И таким образом мы живем. Приятели сходятся у меня и диспутируют. Один (аристократ) говорит, что хорошо бы обуздать мужика, другой (демократ) возражает, что мужика обуздывать нечего, ибо он «предан», а что следует ли, нет ли обуздать дворянское вольномыслие; третий (педагог), не соглашаясь ни с первым, ни со вторым, выражает такое мнение, что ни дворян, ни мужиков обуздывать нет надобности, потому что дворяне – опора, а мужики – почва, а следует обуздать «науку». Я слушаю эти диспуты и благодушествую. Выслушаю одного – кажется, что у него есть кусочек «благих начинаний», выслушаю другого – кажется, и у него есть кусочек «благих начинаний». Ибо, повторяю: нет в мире выжатого лимона, из которого нельзя было бы выжать хоть капельку «благих начинаний». А что, думаю я себе, подберу-ка я эти кусочки: может быть, что-нибудь из них да и выйдет!

Я знаю, впрочем, что не выйдет ничего. Я знаю даже, что привычка подбирать дрянные кусочки – привычка негодная, изнурительная. Она держит человека между двух стульев и отнимает у него всякую возможность действовать в каком бы то ни было смысле. Когда кусочков наберется много, то из них образуется не картина и даже не собрание полезных материалов, а простая куча хламу, в которой едва ли можно разобрать, что куда принадлежит. Рыться в этой куче, вытаскивать наудачу то один, то другой осколок – работа унижительная и совершенно бесплодная. Я знаю все это, но и за всем тем – не только остаюсь при этой дурной привычке, но и виновным в преднамеренном бездельничестве признать себя не могу.

Во-первых, скажите, на какой такой «образ действия» я, русский фрондёр, могу претендовать? Агитировать – запрещено; революции затевать – тем паче. Везде, куда бы я ни сунул свой нос, я слышу: что вы! куда вы! да имейте же терпение! разве вы не видите... благие начинания! И это говорят мне без смеха, без озорства, без малейшего желания мистифицировать меня. Напротив того, я чувствую, что субъект, произносящий эти предостережения, сам ходит на цыпочках, словно боится кого разбудить; что он серьезно чего-то ждет, и в ожидании, пока придет это «нечто», боится не только за будущее ожидаемого, но и за меня, фрондёра, за меня, который непрошеным участием может скомпрометировать и «дело обновления», и *самого себя*. Что должен я ощутить

при виде этой благоговейной оторопи, если б даже в голове моей и вполне созрела потрясательная решимость агитировать страну по вопросу о необходимости ясного закона о потравах? Очевидно, что прежде всего я должен ощутить ту же благоговейную оторопь, которую ощущает и предостерегающий меня субъект. Он ходит на цыпочках – стало быть, и впрямь что-нибудь да готовится. Он так благожелательно предостерегает меня от опасных увлечений – стало быть, и впрямь я рискую услышать: «фюить!», если не буду держать руки по швам. Оторопелый, пораженный пророческим тоном предостережений, я впадаю в недоумение и инстинктивно останавливаю свой бег. За минуту я горел агитационною горячкою и готов был сложить голову, лишь бы добиться «ясного» закона о потравах; теперь – я значительно хладнокровнее смотрю на это дело и рассуждаю о нем несколько иначе. «А что, в самом деле, – говорю я себе, – ежели потравы могут быть устранены без агитации, то зачем же агитировать? Ежели нужно только „подождать“, то отчего же не „подождать“?» Все это до того резонно, что так и кажется, будто кто-то стоит и подталкивает сзади: подожди да подожди! И вот я начинаю ждать, не зная, чего собственно я жду и когда должно произойти то, что я жду. А так как, в ожидании, надобно же мне как-нибудь провести время, то я располагаюсь у себя в кабинете и выслушиваю, как один приятель говорит: надо обуздать мужика, а другой: надо обуздать науку. Скажите, могу ли я поступить иначе?

Во-вторых, как это ни парадоксально на первый взгляд, но я могу сказать утвердительно, что все эти люди, в кругу которых я обращаюсь и которые взаимно видят друг в друге «политических врагов», – в сущности, совсем не враги, а просто бестолковые люди, которые не могут или не хотят понять, что они болтают совершенно одно и то же. Как ни стараются они провести между собою разграничительную черту, как ни уверяют друг друга, что такие-то мнения может иметь лишь несомненный жулик, а такие-то – бесспорнейший идиот, мне все-таки сдается, что мотив у них один и тот же, что вся разница в том, что один делает руладу вверх, другой же обращает ее вниз, и что нет даже повода задумываться над тем, кого целесообразнее обуздать: мужика или науку. Все это одинаково целесообразно в том смысле, что про всю эту «целесообразность» одинаково целесообразно можно сказать: «наплевать»... Следовательно, если я и могу быть в чем-нибудь обвинен, то единственно только в том, что вступаю в сношение с людьми, разговаривающими об обуздании вообще, и выслушиваю их. Но ведь не бежать же мне, в самом деле, на необитаемый остров, чтобы скрыться от них!

Я родился в атмосфере обуздания, я таинственную пуповиной прикреплен к людям обуздания. От ранних лет детства я не слышу иных разговоров, кроме разговоров об обуздании (хотя самое слово «обуздание» и не всегда в них упоминается), и полагаю, что эти же разговоры проводят меня и в могилу. Все относящееся до обуздания вошло, так ска-

зять, в интимную обстановку моей жизни, примелькалось, как плоский русский пейзаж, прислушалось, как сказка старой няньки, и этого, мне кажется, совершенно достаточно, чтоб объяснить то равнодушие, с которым я отношусь к обуздывательной среде и к вопросам, ее волнующим. Я до такой степени *привык* к ним, что, право, не приходит даже на мысль вдумываться, в чем собственно заключаются те тонкости, которыми один обуздательный проект отличается от другого такового ж. Спросите меня, что либеральнее: обуздывать ли человечество при помощи земских управ или при помощи особых о земских провинностях присутствий, – клянусь, я не найдусь даже ответить на этот вопрос. Я не понимаю, в чем состоит сущность его, не могу себе объяснить, зачем тут привлечен либерализм? Мне кажется, что оба решения, на которые указывает вопрос, одинаково стоят на почве обуздания и различаются между собою лишь совершенно недоступною для меня диалектической тонкостью. Поэтому я с одинаковым равнодушием протягиваю руку как сторонникам земских управ, так и защитникам особых о земских повинностях присутствий. Ведь и те и другие одинаково говорят мне об «обуздании» – зачем же я буду целоваться с одним и отворачиваться от другого из-за того только, что первый дает мне на копейку менее обуздания, нежели второй? Лучше я дам каждому по копейке своих – и пускай себе они сотрясают воздух рассказами о преимуществах земских управ над особыми о земских повинностях

присутствиями и наоборот...

Очень возможно, что я ошибаюсь, но мне кажется, что все эти частные попытки, направленные или к тому, чтобы на вершок укоротить принцип обуздания, или к тому, чтобы на вершок удлинить его, не имеют никакого существенного значения. Сегодня на вершок короче, завтра – на вершок длиннее: все это еще больше удерживает дело на почве внезапностей и колебаний, нисколько не разъясняя самого принципа обуздания. Невольно приходит на мысль: если так много спорят об укорачиваниях и удлинении принципа, то почему же не перенести спор прямо на самый принцип?

Мирозерцание громадного большинства людей всё сплошь зиждется на принципе «обуздания». Я знаю, что многие удивятся, услышав, что к ним применяют эпитет «обуздывателей», но удивятся единственно потому, что слишком уж буквально понимают слово «обуздание». Вдумайтесь в смысл этого выражения, и вы увидите, что «обуздание» совсем не равносильно тому, что на местном жаргоне известно под именем «подтягивания», и что действительное значение этого выражения гораздо обширнее и универсальнее. Стоит только припомнить сказки о «почве» со всею свитою условных форм общежития, союзов и проч., чтобы понять, что вся наша бедная жизнь замкнута тут, в бесчисленных и перепутанных разветвлениях принципа обуздания, из которых мы тщетно усиливаемся выбраться то с помощью устного и гласного судопроизводства, то с помощью пе-

реложения земских повинностей из натуральных в денежные... Увы! мы стараемся устроиться как лучше, мы враждем друг с другом по вопросу о переименовании земских судов в полицейские управления, а в конце концов все-таки убеждаемся, что даже передача следственной части от станowych приставов к судебным следователям (мера сама по себе очень полезная) не избавляет нас от тупого чувства недовольства, которое и после учреждения судебных следователей, по-прежнему, продолжает окрашивать все наши поступки, все житейские отношения наши.

Ясно, что тут скрывается крупное недоразумение, довольно близкое ко лжи, разрешение которого совершенно не зависит от того, чью руку, помещичью или крестьянскую, держат мировые посредники. Как же поступить в данном случае? Что предпринять, чтобы освободиться от чувства недовольства, отравляющего жизнь? Уж не начать ли с того, на что большинство современных «дельцов» смотрят именно как на ненужное и непрактичное? Не начать ли с ревизии самого принципа обуздания, с разоблачения той массы лганья, которая непроницаемым облаком окружает этот принцип и мешает как следует рассмотреть его?

Говоря по совести, это именно самое подходящее средство. Я совсем не отрицатель. Я не отвергаю той пользы, которая может произойти для человечества от улучшения быта станowych приставов или от того, что все земские управы будут относиться к своему делу с рачительностью. Но я стою

на одном: что частные вопросы не имеют права загромождать до такой степени человеческие умы, чтобы исключать вопросы общие. Я думаю даже, что ежели в обществе существует вкус к общим вопросам, то это не только не вредит частностям, но даже помогает им. При освещении общих вопросов и вопрос о всеобщей воинской повинности будет разрешен сознательнее, и вопрос об устройстве земских больниц получит более рациональное осуществление. Иногда кажется: вот вопрос не от мира сего, вот вопрос, который ни с какой стороны не может прикоснуться к насущным потребностям общества, — для чего же, дескать, говорить о таких вещах? Но ведь это вздор, любезный читатель! Это только жалкая уловка лгунов-дельцов! Сообразите только, возможное ли это дело! чтобы вопрос глубоко человеческий, вопрос, затрагивающий основные отношения человека к жизни и ее явлениям, мог хотя на одну минуту оставаться для человека безынтересным, а тем более мог бы помешать ему устраиваться на практике возможно выгодным для себя образом, — и вы сами, наверное, скажете, что это вздор! Это до такой степени вздор, что даже мы, современные практики и дельцы, отмаливающиеся от общих вопросов, как от проказы, — даже мы, сами того не понимая, действуем не иначе, как во имя тех общечеловеческих определений, которые продолжают теплиться в нас, несмотря на компактный слой наносного практического хлама, стремящегося заглушить их! Если б это было иначе, откуда же явились бы земские управы! И

откуда получила бы тверская земская управа решимость ассигновать необходимые суммы для поддержания артельных сыроварен?

Как бы то ни было, но принцип обуздания продолжает стоять незыблемый, неисследованный. Он написан во всех азбуках, на всех фронтисписах, на всех лбах. Он до того незыблем, что даже говорить о нем не всегда удобно. Не потому ли, спрашивается, он так живуч, не потому ли о нем неудобно говорить, что около него ютятся и кормятся целые армии лгунов?

Итак, побеседуем о лгунах.

Лгуны, о которых идет речь и для которых «обуздание» представляет отправную точку всей деятельности, бывают двух сортов: лицемерные, сознательно лгушие, и искренние, фанатические.

Лицемерные лгуны суть истинные дельцы современности. Они лгут, как говорилось когда-то, при крепостном праве, «пур ле жанс», нимало не отрицая ненужности принципа обуздания в отношении к себе и людям своего круга. Они забрасывают вас всевозможными «краеугольными камнями», загромождают вашу мысль всякими «основами» и тут же, на ваших глазах, на камни паскудят и на основы плюют. В обществе эти люди носят название «дельцов», потому что они не прочь от компромиссов, и «добрых малых», потому что они всегда готовы на всякое двоедушие. И богу помолиться, и покошунствовать. Это ревнители тихого разврата, рыцари

безделицы, показывающие свои патенты лишь таким же рыцарям, как и они, посетители «отдельных кабинетов», устроители всевозможных комбинаций на основании правила: «И волки сыты, и овцы целы», антрететёры высшей школы, политические и нравственные кукушки, потихоньку кладущие свои яйца в чужие гнезда, при случае – разбойники, при случае – карманные воришки.

Лгуны искренние суть те утописты «обуздания», перед которыми содрогается даже современная, освоившаяся с лганием действительность. Это чудища, которые лгут не потому, чтобы имели умысел вводить в заблуждение, а потому, что не хотят знать ни свидетельства истории, ни свидетельства современности, которые ежели и видят факт, то признают в нем не факт, а каприз человеческого своеволия. Они бросают в вас краеугольными камнями вполне добросовестно, нимало не помышляя о том, что камень может убить. Это угрюмые люди, никогда не покидающие марева, созданного их воображением, и с неумолимою последовательностью проводящие это марево в действительность. Всегда вооруженные, недоступные и неподкупные, они не останавливаются не только перед насилием, но и перед пустотой. «Если в результате наших усилий оказывается только пустота, – говорят они, – то, следовательно, оно не может иначе быть». И вновь начинают безумную работу данаид, совершая мимоходом злодеяния, вырывая крики ужаса и нимало не наполняя бездны. Лично каждый из этих господ может вызвать

лишь изумление перед безграничностью человеческого тупоумия, изумление, впрочем, значительно умеряемое опасением: вот-вот сейчас налетит! вот сейчас убьет, сотрет с лица земли этот ураган бессознательного и тупоумного лгания, отстаивающий свое право убивать во имя какой-то личной «искренности», до которой никому нет дела и перед которой, тем не менее, сотни глупцов останавливаются с разинутыми ртами: это, дескать, «искренность»! – а искренность надобно уважать!

Вот теоретики «обуздания», вот те, которые с неслыханною наглостью держат в осаде человеческое общество. Если хотите знать, которая из указанных выше двух категорий лгунов кажется на мой взгляд более терпимой, я, не обинуясь, отвечу: лгуны сознательные, лицемерные. Лично, быть может, каждый из них во сто крат омерзительнее, нежели лгун-фанатик, но личный характер людей играет далеко не первостепенную роль в делах мира сего. Я от души уважаю искренность, но не люблю костров и пыток, которыми она сопровождается, в товариществе с тупоумием. Нет ничего ужаснее, как искренность, примененная к насилию, и общество, руководимое фанатиками лжи, может наверное рассчитывать на предстоящее превращение его в пустыню. Я предпочитаю лгуна-лицемера уже по тому одному, что он никогда не лжет до конца, но лжет и оглядывается. Хотя он тоже не прочь от пытки, но у него нет того устоя, который окружает пытку ореолом величия. У мелкого плута и сердце, и руки

всегда короче, нежели у подлинного, искреннего душегуба. Вора закон посылает в смиренный дом, душегуба – на ка-торгу. Не потому он делает это различие, чтобы вор был более достоин уважения, а потому, что он менее вреден. Наконец, лицемера-лгуна я могу презирать, тогда как в виду лгуна-фанатика мне ничего другого не остается, как трепетать. Как хотите, а право презирать все-таки хоть сколько-нибудь да облегчает меня...

* * *

Освободиться от «лгунов» – вот насущная потребность современного общества, потребность, во всяком случае, не менее настоятельная, как и потребность в правильном разрешении вопроса о дешевейших способах околки льда на волжских пристанях.

Убеждать теоретиков обуздания в необходимости ревизии этого принципа было бы, однако ж, совершенно напрасною тратой времени. Большинство из них (лгуны-лицемеры) не только не страдает от того, что общество изнемогает под игом насильно навязанных ему и не имеющих ни малейшего отношения к жизни принципов, но даже извлекает из общественной заботы известные личные удобства. Меньшинство же (лгуны-фанатики) хотя и подвергает себя обузданию, наравне с массою простецов, но неизвестно еще, почему люди этого меньшинства так сильно верят в творческие свой-

ства излюбленного ими принципа, потому ли, что он влечет их к себе своими внутренними свойствами, или потому, что им известны только легчайшие формы его. Есть много постников, которые охотно держат пост, сопровождающийся постною стерляжью ухаю, но которые, наверное, совсем не так ретиво пропагандировали бы теорию умерщвления плоти, если б она осуществлялась для них в форме ржаного хлеба, приправленного лебедой.

На деле героем обуздания оказывается совсем не теоретик, а тот бедный простец, который несет на своих плечах все практические применения этого принципа. Он несет их без услад, которые могли бы обмануть его насчет свойств лежащего на нем бремени, без надежды на возможность хоть временных экскурсий в область запретного; несет потому, что вся жизнь его так сложилась, чтоб сделать из него живую, способную выдерживать всевозможные обуздательные опыты. Он чтит все союзы, но чтит не постольку, поскольку они защищают его самого, а поскольку они ограждают других. Для него лично нет в мире угла, который не считался бы заповедным, хотя он сам открыт со всех сторон, открыт для всех воздействий, на изобретение которых так торопят досужий человеческий ум.

Вот для него-то именно и необходимы те разъяснения, о которых идет речь.

Нельзя себе представить положения более запутанного, как положение добродушного простеца, который из всех

сил сгибает себя под игом обуздания и в то же время чувствует, что жизнь на каждом шагу так и подмывает его выскользнуть из-под этого ига. Строго обдуманной теории у него нет; он никогда не пробовал доказать себе необходимость и пользу обуздания; он не знает, откуда оно пришло и как сложилось; для него это просто *modus vivendi*,¹ который он всосал себе вместе с молоком матери. С другой стороны, он никогда не рассуждал и о том, почему жизнь так настойчиво подстрекает его на бунт против обуздания; ему сказали, что это происходит оттого, что «плоть немощна» и что «враг силен», – и он на слово поверил этому объяснению. Ни в том, ни в другом случае опереться ему все-таки не на что. Он не имеет надежной крепости, из которой мог бы делать набег на бунтующую плоть; не имеет и укромной лазейки, из которой мог бы послать «бодрому духу» справедливый укор, что вот как ни дрянна и ни немощна плоть, а все-таки почему-нибудь да берет же она над тобою, «бодрым духом», верх. Словом сказать, он открыт и беззащитен со всех сторон...

Но как ни жалка эта всесторонняя беззащитность, а для него, простеца, неизвестно зачем живущего, неизвестно к чему стремящегося, даже и она служит чем-то вроде спасительной пристани. Устраните из жизни простеца элемент бессознательности, и вы увидите перед собою человека, отданного в жертву непрерывному ужасу. Ужас – ввиду безрадостности существования, со всех сторон опутанного обузданием,

¹ образ жизни (*лат.*)

и ужас же — ввиду угрызений, которые необходимо должны отравить торжество немощной плоти над бодрым духом. Куда ни оглянись — везде огненная геенна. Ясно, что при такой обстановке совсем невозможно было бы существовать, если б не имелось в виду облегчительного элемента, позволяющего взглянуть на все эти ужасы глазами пьяного человека, который готов и море переплыть, и с колокольни соскочить без всякой мысли о том, что из этого может произойти. Ясно, что только одна бессознательность может выручить простака в его затруднительном положении. Если человек незащищен, если у него нет средств бороться ни за, ни против немощной плоти, то ему остается только безусловно отдаться на волю гнетущей необходимости, в какой бы форме она ни представлялась. Исполнивши это, он, по крайней мере, освобождает себя от вменяемости перед судом собственной совести, от ужасов, которыми она грозит ему на каждом шагу. Подобно лунатику, он идет навстречу препятствию, столь же чуждый сознательному намерению преодолеть его, как и сознательному опасению разбить себе лоб. Случись первое — он совершает подвиг без всякой мысли о его совершении; случись второе — он встречает смерть, как одну из внезапностей, сцеплением которых была вся его жизнь.

Но, скажут, быть может, многие, что же нам до того, сознательно или бессознательно примиряется человек с жизнью? Ведь дело не в том, в какой форме совершается это примирение, а в том, что оно, несмотря на форму, совершается до

такой степени полно, что сам примиряющийся не замечает никакой фальши в своем положении! Ведь примирившийся счастлив — оставьте же его быть счастливым в его бессознательности! не будите в нем напрасного недовольства самим собою, недовольства, которое только производит в нем внутренний разлад, но в конце концов все-таки не сделает его ни более способным к правильной оценке явлений, из которых складывается ни для кого не интересная жизнь простеца, ни менее беззащитным против вторжения в эту жизнь всевозможных внезапностей.

Возражение это, прежде всего, не весьма нравственно, хотя по преимуществу слышится со стороны людей, считающих себя охранителями добрых нравов в обществе. В основании его лежат темные виды на человеческую эксплуатацию, которая, как известно, ничем так не облегчается, как нахождением масс в состоянии бессознательности. Во-вторых, если и есть основание допустить возможность сочетания счастья с бессознательностью, то счастье такого рода имеет столь же мало шансов на прочность, сколь мало имеет их и сама бессознательность. Последняя хотя и может служить примирителем между человеком и жизнью, но лишь до тех пор, покамест тому благоприятствует спокойно сложившаяся внешняя обстановка. С изменением обстановки, с вторжением в нее нового элемента, смягчающие свойства бессознательности истираются с поразительной быстротой, и услуги, доставляемые ею, делаются не только ничтожны-

ми, но и прямо назойливыми, почти омерзительными. Такого рода метаморфозы вовсе не редкость даже для нас; мы на каждом шагу встречаем мечущихся из стороны в сторону простецов, и если проходим мимо них в недоумении, то потому только, что ни мы, ни сами мечущиеся не даем себе труда формулировать не только источник их отчаяния, но и свойство претерпеваемой ими боли. А источник этот всегда один и тот же: это – непроизвольное прекращение состояния бессознательности.

Простец вынослив – это правда. Покуда жизнь его идет обычною прозябательною колеей, гнет обуздания остается для него почти нечувствительным. Но едва ли в целом мире найдется такое неосмысленное существование, которое можно было бы навсегда удержать на исключительно прозябательной колее. У самого простейшего из простецов найдется в жизни такая минута, которая разом выведет его из инерции, разобьет в прах его бессознательное благополучие и заставит безнадежно метаться на прокрустовом ложе обуздания. Вспомните, сколько в этом бедном существовании больных мест, которые так и напрашиваются на уязвление! Вспомните, что оно обставлено целою свитой азбучных афоризмов, из которых ни один не защищает, а, напротив того, представляет легко отворяющуюся дверь для всевозможных наездов! А между тем простец сжился с этими афоризмами, он чувствует себя сросшимся с ними, он по ним устроил всю свою жизнь! И вдруг является что-то неожиданное, непредви-

денное, вследствие чего он чувствует, что с него, не имеющего никакого понятия о самозащите, живьем сдирают нагноившую кожу, которую он искони считал своею собственною! Как поступит он в таком случае?

Нет сомнения, случись что-нибудь подобное с теоретиком-дельцом, он скажет себе: «Наплевать», и пойдет туда, куда укажет ему его личная выгода. Случись то же самое с теоретиком-фанатиком, он скажет себе: это дьявольское наваждение, – и постарается отбиться от него с помощью пытки, костров и т. д. Но простец в подобных случаях видит себя как в лесу. Он не может сказать себе: «Устрою свою жизнь по-новому», потому что он весь опутан афоризмами, и нет для него другого выхода, кроме изнурительного маячения от одного афоризма к другому. Он никогда ничего не ждал, ни к чему не готовился. Он самый процесс собственного существования выносил только потому, что не понимал ни причин, ни последствий своих и чужих поступков. И вдруг для него наступает момент какой-то загадочной ликвидации, в которой он ровно ничего не понимает. Жена сбежала с юнкером, сосед завладел полем, друг оказался предателем. «Что случилось? – в смущении спрашивает он себя, – не обрушился ли мир? не прекратила ли действие завещанная преданием общественная мудрость?» Но и мир, и общественная мудрость стоят неприкосновенные и нимало не тронутые тем, что в их глазах гибнет простец, которого бросила жена, которому изменил друг, у которого сосед отнял поле. Ничто не

изменилось кругом, ничто не прекратило обычного ликования, и только он, злосчастный простец, тщетно вопиет к небу по делу о побеге его жены с юнкером, с тем самым юнкером, который при нем столько раз и с таким искренним чувством говорил о святости семейных уз!

Понятно, как должен он быть изумлен. В том общем равнодушии, которое встречает его горе, он видит какой-то странный внутренний разлад, какую-то двойную, самую себя побивающую мораль. Мало того: самые поступки его жены, соседа, друга кажутся ему загадочными. Эти люди совсем не отрицатели и протестанты; напротив того, они сами не раз утверждали его в правилах общежития, сами являлись пламенными защитниками тех афоризмов, которыми он, с их же слов, окружил себя. Что побудило их уклониться от прямой дороги, не стесняясь даже тем, что это уклонение разбивает чье-то существование? Нет ли в их поступке двойной морали, притворства, порочного действия, за которые их должны были бы преследовать угрызения совести?

Увы! тут вовсе нет никакой двойной морали, а что касается до угрызений совести, то самая надежда на них оказывается пустым ребячеством. Тут была простая мораль «пур ле жанс», которую ни один делец обуздания никогда не считает для себя обязательною и в которой всегда имеется достаточно широкая дверь, чтобы выйти из области азбучных афоризмов самому и вывести из нее своих присных. Если простец не видит этой двери, тем хуже для него, но для

дельца-теоретика эта слепота представляет даже выгоду, ибо устраняет толкотню. Он свободно делает через эту дверь свои экскурсии и свободно же возвращается через нее в область афоризмов, когда это нужно для подкрепления морали «пур ле жанс». Как истинно развитой человек, он гуляет и тут, и там, никогда не налагая на себя никаких уз, но в то же время отнюдь не воспрещая, чтобы другие считали для себя наложение уз полезным. Напротив того, он охотно даже поддерживает вкус к узам, ибо вкус этот развязывает ему руки, расчищает перед ним больше места...

Но как ни просто такое объяснение обстоятельства, смутившего жизнь бедного простеца, для него оно все-таки представляет тарабарскую грамоту. Он не понимает, что причину поразившей его смуты составляет особенная, не имеющая ничего общего с жизнью теория, которую сочинители ее, нимало не скрываясь, называют моралью «пур ле жанс» и которую он, простец, принял за нечто вполне серьезное. Видя, что истонные регуляторы его жизни поломаны, он не задается мыслью: что ж это за регуляторы, которые ломаются при первом прикосновении к ним? не они ли именно и измяли, и скомкали всю его жизнь? — но прямо и искренно чувствует себя несчастным. Несчастье вызывает в нем протест, но протест настолько смутный, насколько смутен и источник, породивший его. От изумления он переходит к унынию и отчаянию. Он мечется как в предсмертной агонии; он предпринимает тысячу действий, одно нелепее и

бессильнее другого, и попеременно клянется то отомстить своим обидчикам, то самому себе разбить голову...

Вот вероятный практический результат, к которому в конце концов должен прийти самый выносливый из простецов при первом жизненном уколе. Ясно, что бессознательность, которая дотоле примиряла его с жизнью, уже не дает ему в настоящем случае никаких разрешений, а только вносит элемент раздражения в непроницаемый хаос понятий, составляющий основу всего его существования. Она не примиряет, а приводит к отчаянию.

Ужели зрелища этого бессильного отчаяния не достаточно, чтоб всмотреться несколько пристальнее в эту спутанную жизнь? чтоб спросить себя: «Что же, наконец, скомкало и спутало ее? что сделало этого человека так глубоко неспособным к какому-либо противодействию? что поставило его в тупик перед самым простым явлением, потому только, что это простое явление вышло из размеров рутинной колеи?»

Допустим, однако ж, что жизнь какого-нибудь простеца не настолько интересна, чтоб вникать в нее и сожалеть о ней. Ведь простец – это незаметная тля, которую высший организм ежемгновенно давит ногой, даже не сознавая, что он что-нибудь давит! Пусть так! Пусть гибнет простец жертвою недоумений! Пусть осуществляется на нем великий закон борьбы за существование, в силу которого крепкий приобретает еще большую крепость, а слабый без разговоров отбрасывается за пределы жизни!

Но не забудьте, что имя простеца – легион и что никакой закон, как бы он ни был бесповоротен в своей последовательности, не в силах окончательно стереть этого легиона с лица земли. Простец нарождается беспрерывно, как та тля, которой он служит представителем в человеческом обществе и которую не передавить и не истребить целому сонмищу хищников. Не простецов, не тли, а «крепких» мало, да притом же на современном общественном языке, по какому-то горькому извращению понятий, «крепким» называется совсем не тот, кто действительно борется за существование, а тот, кто, подобно кукушке, кладет свои яйца в чужие гнезда. Ужели же, хотя в виду того, что простец съедобен, – что он представляет собою лучшую *anima vilis*,² на которой может осуществляться закон борьбы за существование, – ужели в виду хоть этих удобств найдется себялюбец из «крепких», настолько ограниченный, чтобы желать истребления «простеца» или его окончательного обессиления?

Надо сказать правду: нельзя указать ни одной книжки в литературе «крепких», где бы фантазии подобного рода нашли для себя сознательное выражение. Напротив того, все книжки свидетельствуют единогласно, что простец имеет столь же неотъемлемое право на существование, как и «крепкий», исключая, разумеется, тех случаев, когда закон борьбы, независимо от указаний филантропии, безжалостно посекает первого и щадит второго. Но, к сожалению, эта

² «гнусную душу», то есть подопытное животное (*лат.*)

похвальная осмотрительность в значительной степени под-
рывается тем обстоятельством, что общее мирозерцание
«крепких» столь же мало отличается цельностью, как и ми-
розозерцание «простецов». Говоря по совести, оно не только
лишено какой бы то ни было согласованности, но все сплошь
как бы склеено из кусочков и изолированных теорий, из ко-
торых каждая питает саму себя, организуя таким образом
как бы непрекращающееся вавилонское столпотворение.

От этого происходит, что едва, например, социологиче-
ская или позитивная теория успеют найти место для просте-
ца, как теория теологическая или экономическая уже спешат
отнять у него это место и указывают на другое. И, таким об-
разом, за спорами, простец остается непристроенным. А тут,
как бы на помощь смуте, является еще практика «крепких»,
которая уже окончательно смешивает шашки и истребляет
даже последние крохи теоретической стыдливости. Теория
говорит свое: нужно пристроить простеца, нужно освободи-
ть его от колебаний, которые тяготят над его жизнью! —
а практика *делает* свое, то есть служит самым обнаженным
выражением людской ограниченности, не видящей впереди
ничего, кроме непосредственных результатов, приобретае-
мых самолюбивою хищностью...

А между тем никто так не нуждается в свободе от призра-
ков, как простец, и ничье освобождение не может так бла-
готворно отозваться на целом обществе, как освобождение
простеца.

Подумайте! Покуда «крепкий», благодушествуя, придумывает теории союзов – простец несет на себе все бремя действительного производительного труда. Покуда «крепкий» кладет свои яйца в чужое гнездо (увы! в гнездо того же простеца!) – простец обязывается устроить это гнездо, сделать его удобным для высиживания чужих яиц. Но какая же может пойти на ум работа, если этот ум подавлен призраками, если он вращается в какой-то нескончаемой пустоте, из которой нет другого выхода, кроме отчаяния? Подумайте, сколько тут теряется нравственных сил? а если нравственные силы нипочем на современном базаре житейской суеты, то переложите их на гроши и сообразите, как велик окажется недоучет последних, вследствие одного того только, что простец, пораженный унынием, не видит ясной цели ни для труда, ни даже для самого существования?

О, теоретики пенкоснимательства! о, вы, которые с пытливостью, заслуживающей лучшей участи, допытываетесь, сколько грошей могло бы быть сэкономлено, если б суммы, отпускаемые на околку льда на волжских пристанях, были расходуются более осмотрительным образом! Подумайте, не целесообразнее ли поступили бы вы, обратив вашу всепожирающую пенкоснимательную деятельность на исследование тех нравственных и материальных ущербов, которые несет человеческое общество, благодаря господствующим над ним призракам!

В ДОРОГЕ

Я ехал недовольный, измученный, расстроенный. В М***, где были у меня дела по имению, ничто мне не удалось. Дела оказались запущенными; мои требования встречали или прямой отпор, или такую уклончивость, которая не предвещала ничего доброго. Предвиделось судебное разбирательство, разъезды, расходы. Обладание правом представлялось чем-то сомнительным, почти тягостным.

– Очень уж вы, сударь, просты! – утешали меня мои м – ские приятели. Но и это утешение действовало плохо. В первый раз в жизни мне показалось, что едва ли было бы не лучше, если б про меня говорили: «Вот молодец! налетел, ухватил за горло – и делу конец!»

Дорога от М. до Р. идет семьдесят верст проселком. Дорога тряска и мучительна; лошади сморены, еле живы; тарантас сколочен на живую нитку; на половине дороги надо часа три кормить. Но на этот раз дорога была для меня поучительна. Сколько раз проезжал я по ней, и никогда ничто не поражало меня: дорога как дорога, и лесом идет, и перелесками, и полями, и болотами. Но вот лет десять, как я не был на родине, не был с тех пор, как помещики взяли в руки гитары и запели:

На реках вавилонских – тамо седохом и плакахом... —

и до какой степени всё изменилось кругом!

С тех пор и народ «стал слаб» и все мы оказались «просты... ах, как мы просты!», и «немец нас одолел!» Да, немец. «Долит немец, да и шабаш!» – вопиют в один голос все кабатчики, все лабазники, все содержатели постоянных дворов. И вам ничего не остается делать, как согласиться с этим воплем, потому что вы видите собственными глазами и чувствуете сердцем, как всюду, и на земле и под землею, и на воде и под водою – всюду ползет немец. В этих коренных русских местах, где некогда попирали ногами землю русские угодники и благочестивые русские цари и царицы, – в настоящую минуту почти всевластно господствует немец. Он снимает рощи, корчует пни, разводит плантации, овладевает всеми промыслами, от которых, при менее черной сравнительно работе, можно ожидать более прибылей, и даже угрожает забрать в свои руки исконный здешний промысел «откармливания пеунов». И чем ближе вы подъезжаете к Троицкому посаду и к Москве, этому средоточию русской святыни, тем более убеждаетесь, что немец совсем не перелетная птица в этих местах, что он не на шутку задумал здесь утвердиться, что он устроивается прочно и надолго и верною рукой раскидывает мрежи, в которых суждено барахтаться всевозможным Трифонычам, Сидорычам и прочей неуклюжей белужине и сомовине, заспавшейся, опухшей, спившейся с круга.

– Чей это домик? – спрашиваю я, указывая на стоящий в

стороне новенький, с иголки, домик, кругом которого уже затеян молодой сад.

– Это Крестьян Иваныча! – отвечает ямщик, – он тут рошу у помещика купил. Вон он, лес-то! Ишь сколько повалил! Словно город, костров-то наставил!

Я смотрю по указываемому направлению и вижу, что вдали действительно раскинулось словно большое село. Это сложенные стопы бревен, тесу, досок, сажени всякого рода дров: швырковых, угольных, хворосту и т. д.

– Кто же этот Крестьян Иваныч?

– Немец. Он уж лет пять здесь орудует. Тощой пришел, а теперь, смотри, какую усадьбу взбодрил!

– Хороший человек?

– Душа-человек. Как есть русский. И не скажешь, что немец. И вино пьет, и сморкается по-нашему; в церковь только не ходит. А на работе – дошлый-предошлый! все сам! И хозяйка у него – все сама!

– А дорого за рошу дал?

– Пустое дело. Почесть что задаром купил. Иван Матвейч, помещик тут был, господин Сибиряков прозывался. Крестьян-то он в казну отдал. Остался у него лесок – сам-то он в него не заглядывал, а лесок ничего, хоть на какую угодно стройку гош! – да болотце десятин с сорок. Ну, он и говорит, Матвей-то Иваныч: «Где мне, говорит, с этим дерьмом возжаться!» Взял да и продал Крестьян Иванычу за бесценок. Владай!

– Отчего же свои крестьяне не купили, коли дешево?

– А крестьяне покудова проклажались, покудова что... Да и засилья настоящего у мужиков нет: всё в рассрочку да в годы – жди тут! А Крестьян Иваныч – настоящий человек! вероятный! Он тебе вынул бумажник, отсчитал денежки – поезжай на все четыре стороны! Хошь – в Москве, хошь – в Питере, хошь – на теплых водах живи! Болотце-то вот, которое просто в придачу, задаром пошло, Крестьян Иваныч нынче высушил да засеял – такая ли трава расчудесная пошла, что теперича этому болотцу и цены по нашему месту нет!

– Однако этот Крестьян Иваныч, если в засилье взойдет, он у вас скоро с лесами-то порешит!

– Это ты насчет того, что ли, что лесов-то не будет? Нет, за им без опаски насчет этого жить можно. Потому, он умный. Наш русский – купец или помещик – это так. Этому дай в руки топор, он все безо времени сделает. Или с весны рощу валить станет, или скотину по вырубке пустит, или под покос отдавать начнет, – ну, и останутся на том месте одни пеньки. А Крестьян Иваныч – тот с умом. У него, смотри, какой лес на этом самом месте лет через сорок вырастет!

Едем еще верст пять-шесть; проезжаем мимо усадьбы. Большой каменный двухэтажный дом, с башнями по бокам и вышкой посередине; штукатурка местами обвалилась; направо и налево каменные флигеля, службы, скотные и конные дворы, оранжереи, теплицы; во все стороны тянутся про-

спекты, засаженные столетними березами и липами; сзади – темный, густой сад; сквозь листву деревьев и кустов местами мелькает стальной блеск прудов. И дом, и сад, и проспекты, и пруды – все запущено, все заглохло; на всем печать забвения и сиротливости.

– Чья усадьба?

– Величкина Павла Павлыча была, а нынче Федор Карлыч купил.

– Какой Федор Карлыч?

– Немец. Сибирян (Зильберман) прозывается. Хороший барин. Умный.

– Отчего же у него так запущено? – удивляетесь вы, уже безотчетно подчиняясь какому-то странному внушению, вследствие которого выражения «немец» и «запущенность» вам самим начинают казаться несовместимыми, тогда как та же запущенность показалась бы совершенно естественною, если бы рядом с нею стояло имя Павла Павловича господина Величкина.

– Только по весне купил. Он верхний-то этаж снести хочет. Ранжереи тоже нарушил. Некому, говорит, здесь этого добра есть. А в ранжереях-то кирпича одного тысяч на пять будет.

– А много денег отдал?

– Сибирян-то? Задаром взял. Десятин с тысячу места здесь будет, только все лоскутками: в одном месте клочок, в другом клочок. Ну, Павел Павлыч и видит, что возжаться

тут не из чего. Взял да на круг по двадцать рублей десятину и продал. Ан одна усадьба кирпичом того стоит. Леску тоже немало, покосы!

— Да что же, наконец, за крайность была отдавать за бесценок?

— А та и крайность, что ничего не поделаешь. Павел-то Павлыч, покудова у него крепостные были, тоже с умом был, а как отошли, значит, крестьяне в казну — он и узнал себя. Остались у него от надела клочочки — сам оставил: всё получше, с леском, местечки себе выбирал — ну, и не соберет их. Помаялся, помаялся — и бросил. А Сибирян эти клочочки все к месту пристроит.

Еще десять верст — впереди речка. На речке плотина, слышен шум падающей воды, двигающихся колес, на берегу, в лощинке, ютится красивая, вновь выстроенная мельница.

— Чья мельница?

— Была мельница — теперь фабричка. Адам Абрамыч купил. Увидал, что по здешнему месту молоть нечего, и поворотил на фабричку. Бумагу делает.

Я уже не спрашиваю, кто этот Адам Абрамович и за сколько он приобрел мельницу. Я знаю. Но мною всецело овладевает вопрос: и это земля, которую некогда прославили чудеса русских угодников! Земля, которую некогда попирали стопы благочестивых царей и благоверных цариц русских, притекавших сюда, под тихую сень святых обителей, отдохнуть от царственных забот и трудов и излить воздыхания сокру-

шенных сердец своих! Это ужасно! Ведь он, наконец, жид, этот Адам Абрамович! Непременно он жид! Жид – и где? в каком месте?!

А вот кстати, в стороне от дороги, за сосновым бором, значительно, впрочем, поредевшим, блеснули и золоченые главы одной из тихих обителей. Вдали, из-за леса, выдвинулось на простор темное плёсо монастырского озера. Я знал и этот монастырь, и это прекрасное, глубокое рыбное озеро! Какие водились в нем лещи! и как я объедался ими в годы моей юности! Вяленые, сушеные, копченые, жареные в сметане, вареные и обсыпанные яйцами – во всех видах они были превосходны!

– Озеро-то у монастыря нынче Иван Карлыч снял! – обращивается ко мне ямщик.

– Что ты?

– Истинно. Прежде всё русским сдавали, да, слышь, безо времени рыбу стали ловить, – ну, и выловили всё. Прежде какие лещи водились, а нынче только щурята да голавль. Ну, и отдали Иван Карлычу.

Еще удар чувствительному сердцу! Еще язва для оскорбленного национального самолюбия! Иван Парамонов! Сидор Терентьев! Антип Егоров! Столпы, на которых утверждалось благополучие отечества! Вы в три дня созидавшие и в три минуты разрушавшие созданное! Где вы? Где мрежи, которыми вы уловляли вселенную! Ужели и они лежат заложенные в кабаке и ждут покупателя в лице Ивана Карлыча?

Ужели и ваши таланты, и ваша «удача», и ваше «авось», и ваше «небось» – все, все погибло в волнах очищенной?

– Нынче русские только кабаками занимаются, – как бы отвечает ямщик к мою тайную мысль, – а прочее все к немцам отошло.

– Но ведь не все же кабаками занимаются! Прочие-то чем же nibудь да живут?

– А прочие – кто невинно падшим объявился, а кто в приказчики к немцу нанялся. Ничего – немцы нашими не гнушаются покудова. Прохора-то Петрова, чай, знаете?

– Это Голубчикова-то?

– Ну вот, его самого. Теперь он у Адама Абрамыча первый человек состоит. И у него своя фабричка была подле Адам Абрамычевой; и тоже пофордыбачил он поначалу, как Адам-то Абрамыч здесь поселился. Я-ста да мы-ста, да куда-ста кургузому против нас устоять! Ан через год вылетел. Однако Адам Абрамыч простил. Нынче Прохор-то Петров у него всем делом заправляет – оба друг дружкой не нахвалятся.

Мы едем с версту молча. Наконец ямщик снова оборачивается ко мне.

– Я вот что думаю, – говорит он, – теперича я ямщик, а задумай немец свою тройку завести – ни в жизнь мне против его не устоять. Потому, сбруйка у него аккуратненькая, животы не мученые, тарантасец покойный – едет да посвистывает. Ни он лошадь не задергает, ни он лишний раз кнутом ее не хлестнет – право-ну! Намеднись я с Крестьян Иванычем

в Высоково на базар ездил, так он мне: «Как это вы, русские, лошадей своих так калечите? говорит, – неужто ж, говорит, ты не понимаешь, что лошадь твоя тебе хлеб дает?» Ну, а нам как этого не понимать? Понимаем!

– Ну, и что ж?

– Известно, понимаем. Я вот тоже Крестьяну-то Иванычу и говорю: «А тебя, Крестьян Иваныч, по зубам-то, верно, не чищивали?» – «Нет, говорит, не чищивали». – «Ну, а нас, говорю, чистили. Только и всего». Эй, вы, колелые!

Мы с версту мчимся во весь дух. Ямщик то и дело оглядывается назад, очевидно с желанием уловить впечатление, которое произведет на меня эта безумная скачка. Наконец лошади мало-помалу начинают сами убавлять шаг и кончают обыкновенною ленивою рысью.

– Уж так нынче народ слаб стал! так слаб! – произносит наконец ямщик, как бы вдруг открывая предо мной свою заветную мысль.

– А что?

– Это чтобы обмануть, обвесить, утащить – на все первый сорт. И не то чтоб себе на пользу – всё в кабак! У нас в М. девятнадцать кабаков числится – какие тут прибитки на ум пойдут! Он тебя утром на базаре обманул, ан к полудню, смотришь, его самого кабатчик до нитки обобрал, а там, по истечении времени, гляди, и у кабатчика либо выручку украли, либо безменом по темю – и дух вон. Так оно колесом и идет. И за дело! потому, дураков учить надо. Только вот что

диво: куда деньги деваются, ни у кого их нет!

– А немцы на что?

– И то правда. Денежка свое место знает. Ползком-ползком, а доползет-таки до хозяина!

Опять восклицание «эй, вы, колелые!» и опять скачка.

– А вон и Пчельники! вон на горе-то!

* * *

В Пчельниках кормежка.

Восклицание «уж так нынче народ слаб стал!» составляет в настоящее время модный припев градов и весей российских. Везде, где бы вы ни были, – вы можете быть уверены, что услышите эту фразу через девять слов на десятое. Вельможа в раззолоченных палатах, кабатчик за стойкой, земледелец за сохою – все в одно слово вопиют: «Слаб стал народ!» То же самое слышали мы и на постоялом дворе.

Жена содержателя двора, почтенная и деятельнейшая женщина, была в избе одна, когда мы приехали; прочие члены семейства разошлись: кто на жнитво, кто на сенокос. Изба была чистая, светлая, и все в ней глядело запасливо, полною чашей. Меня накормили отличным ситным хлебом и совершенно свежими яйцами. За чаем зашел разговор о хозяйстве вообще и в частности об огородничестве, которое в здешнем месте считается главным и почти общим крестьянским промыслом.

– Нет нынче прежней обощи! – говорила хозяйка, вынимая из печи лопатой небольшие румяные хлебцы, – горохи – и те против прежнего наполовину родиться стали!

– Отчего же? земля, что ли, отошала?

– Нет, и не земля, а народ стал слаб. Ах, как слаб нынче народ!

Через час пришел с покоса хозяин, а за ним собрались и остальные члены семейства. Началось бесконечное чаепитие, под конец которого из чайника лилась только чуть-чуть желтоватая вода.

– Я прежде пар триста пеунов в Питер отправлял, – говорил хозяин, – а прошлой зимой и ста пар не выходил!

– Невыгодно, что ли?

– Нет, выгода должна быть, только птицы совсем ноне не стало. А ежели и есть птица, так не кормна, проестлива. Как ты ее со двора-то у мужичка кости да кожа возьмешь – начни-ка ее кормить, она самоё себя съест.

– Отчего ж это?

– Да оттого, что народ стал слаб. Слаб нынче народ, ни на что не похоже!

Хозяева отобедали и ушли опять на работы. Пришел пастух, который в деревнях обыкновенно кормится по ряду то в одной крестьянской избе, то в другой. Ямщик мой признал в пастухе знакомого, который несколько лет сряду пас стадо в М.

– Ты что же от нас ушел, Мартын?

– У вас в М. дверей у кабаков больно много.

– А ты бы не во всякую попадал!

– Да, убережешься у вас! разве я один! Нынче и весь народ вообще слаб стал.

– Уж так слаб! так слаб! – вторили пастух, ямщик и хоззяйка.

Частое повторение этой фразы подействовало на меня раздражительно. Ужели же, думалось мне, достаточно поставить перед глазами русского человека штоф водки, достаточно отворить дверь кабака, чтоб он тотчас же растерялся, позабыл и о горохе, и о пеунах, и даже о священной обязанности бодро и неуклонно пасти вверенное ему стадо коров! Нет, тут что-нибудь да не так. Это выдумали клеветники русского народа или, по малой мере, противники ныне действующей акцизной системы. Допустим, что водка имеет притягивающую силу, но ведь не сама же по себе, а разве в качестве отуманивающего, одуряющего средства. Некуда деваться, не об чем думать, нечего жалеть, не для чего жить – в таком положении водка, конечно, есть единственное средство избавиться от тоски и гнетущего однообразия жизни. Зачем откармливать пеунов? зачем растить горохи? Вот хозяин постоянного двора, который скупает пеунов и горохи, тот, конечно, может дать ясный ответ на эти вопросы, потому что пеуны и горохи дают ему известный барыш. Но ведь он и не «слаб». А мужик, то есть первый производитель товара, – он ничего перед собой не видит, никакой политико-эконо-

мической игры в спрос и предложение не понимает, барышей не получает, и потому может сказать только: «наплевать» – и ничего больше. Чтобы предаться откармливанию пеунов абсолютно, трансцендентально и бескорыстно, надо, по малой мере, хоть азбуку политической экономии знать; но этого-то знания именно у нас и нет. Оттого пеуны выходят некормные, а горохи плохие. Прежде, когда русская политическая экономия была в заведовании помещиков, каких индеек выкармливали – подумать страшно! Теперь, когда политическая экономия перешла в руки мужиков, самое название индейки грозит сделаться достоянием истории. «Индейка, – объявляет мужик прямо, – птица проестливая, дворянская, мужику кормить ее не из чего». Но ради самого бога! Кто же будет откармливать индеек?

Нет, хозяин постоянного двора был неправ, объясняя некормность нынешних пеунов так называемую «слабостью» русского народа. И прежде крестьянская птица была тоща и хила, и нынче она тоща и хила; разведением же настоящей, сильной и здоровой птицы занимался исключительно помещик, у которого были и надлежащие приспособления, чтоб сделать индейку жирною, пухлою, белою. «Уехал на теплые воды» помещик – исчезла и птица; но погодите, имейте терпение – птица будет! Придет Крестьян Иваныч – и таких представит индеек, что сам Иван Федорович Шпонька – и тот zalюбуется ими!

То же самое должно сказать и о горохах. И прежние му-

жицкие горохи были плохие, и нынешние мужицкие горохи плохие. Идеал гороха представлял собою крупный и полный помещичий горох, которого нынче нет, потому что помещик уехал на теплые воды. Но идеал этот жив еще в народной памяти, и вот, под обаянием его, скупщик восклицает: «Нет нынче горохов! слаб стал народ!» Но погодите! имейте терпение! Придет Карл Иваныч и таких горохов представит, каких и во сне не снилось помещикам!

Остается, стало быть, единственное доказательство «слабости» народа – это недостаток неуклонности и непреодолимой верности в пастьбе сельских стад. Признаюсь, это доказательство мне самому, на первый взгляд, показалось довольно веским, но, по некотором размышлении, я и его не то чтобы опровергнул, но нашел возможным обойти. Смешно, в самом деле, из-за какого-нибудь десятка тысяч пастухов обвинить весь русский народ чуть не в безумии! Ну, запил пастух, – ну, и смените его, ежели не можете простить!

Но вот и опять дорога. И опять по обеим сторонам мелькают всё немцы, всё немцы. Чуть только клочок поуютнее, непременно там немец копошится, рубит, колет, пилит, корчует пни. И всё это только еще пионеры, разведчики, за которыми уже виднеется целая армия.

– А позволь, твое благородие, сказать, что я еще думаю! – вновь заводит речь ямщик, – я думаю, что мы против этих немцев очень уж просты – оттого и задачи нам нет.

– То есть, что же ты хочешь этим сказать?

– Немец – он умный. Он из пятиалтынного норовит целковых наделать. Ну, и знает тоже. Землю-то он сперва пальцем поковыряет да на языке попробует, каков у ней скус. А мы до этого не дошли... Просты.

Час от часу не легче. То слабы, то есть пьяны, то просты, то есть... Мы просты! Мы, у которых сложилась даже пословица: «простота хуже воровства». Не верю!

И я невольно припомнил, как мы – ские приятели говорили мне:

– Уж очень вы, сударь, просты! ах, как вы просты!

И не одно это припомнил, но и то, как я краснел, выслушивая эти восклицания. Не потому краснел, чтоб я сознавал себя дураком, или чтоб считал себя вправе поступать иначе, нежели поступал, а потому, что эти восклицания напоминали мне, что я *мог поступать иначе*, то есть с выгодой для себя и в ущерб другим, и что самый факт непользования этою возможностью у нас считается уже глупостью.

Стыдно сказать, но делается как-то обидно и больно, когда разом целый кагал смотрит на вас, как на дурака. Не самое название смущает, а то указывание пальцами, которое вас преследует на каждом шагу. Вы имели, например, случай обыграть в карты и не обыграли:

– Очень уж вы просты! ах, как вы просты!

Вас надули при покупке, вы дались в обман, не потому, чтоб были глупы, а потому, что вам на ум не приходило, чтобы в стране, снабженной полицией, мошенничество было од-

ною из форм общежития:

– Очень уж вы просты! ах, как вы просты!

Вы управляли чужим именем и ничем не воспользовались в ущерб своему доверителю, хотя имели так называемые «случаи», «дела» и т. п.:

– Очень вы уж просты! ах, просты!

Нет, мы не просты. Ямщик соврал. Не прост тот народ, который к простоте относится с такою язвительностью, который так решительно бичует ее!

Но, может быть, мы недальновидны и невежественны? Может быть, мы самонадеянны и чересчур уж способны? Может быть, даровой прибыток нас соблазняет больше, нежели прибыток, сопряженный с трудом?

Таковы были мысли, с которыми я въехал в Р.

* * *

Между уездными городами Р. занимает одно из видных мест. В нем есть свой кремль, в котором когда-то ютилась митрополия; через него пролегает шоссе, которое, впрочем, в настоящее время не играет в жизни города никакой роли; наконец, по весне тут бывает значительная ярмарка. В двух верстах от города пролегает железная дорога и имеется станция.

Когда я приехал в Р., было около девяти часов вечера, но городская жизнь уже затихала. Всенощные кончались; по-

следние трезвоны замирали на колокольнях церквей; через четверть часа улицы оживились богомольцами, возвращающимися домой; еще четверть часа – и город словно застыл.

Есть что-то удручающее в физиономии уездного города, оканчивающего свой день. Сумерки еще прозрачны, дневной зной только что улегся; из садов несутся благоухания; воздух мало-помалу наполняется свежестью, а движение уже покончено. Покончено резко, разом, словно оборвалось. Отовсюду несутся звуки запираемых железных засовов и болтов. В продолжение нескольких минут еще мелькают в окнах каменных купеческих домов огоньки, свидетельствующие о вечерней трапезе, а сквозь запертые ставни маленьких деревянных домиков слышится смутный говор. Но вот словно вздох пронесся над городом; все разом погасло и притихло. Мрак погустел; вы на улице одни; из-под ног что-то вдруг шмыгнуло...

До прихода поезда оставалось еще около четырех часов. В «почтовой гостинице», когда-то бойкой и оживленной, с проведением железной дороги все напоминало о запустении. В номерах пахло прокислым и затхлым; загаженные мухами окна растворялись с трудом; на кровати, вместо тюфяка, лежал замасленный и притоптанный блин. Нельзя ни спать, ни бодрствовать. Я вышел на улицу и, не встретив там ни души, направился к озеру. Озеро в Р. неопрятное, низменное; вода в нем тухлая, никуда не пригодная; даже рыба имеет затхлый, болотный вкус; но вдали, по берегу, разбросано до-

вольное количество сел, которые, в яркий солнечный день, представляют приятную панораму для глаз. Со стороны горожан набережная озера не в чести. Богатый люд удалился от нее поближе к кремлю и предоставил берег озера люду бедному: мелким чиновникам и мещанам. Маленькие деревянные домики вразброс лепятся по береговой покатости, давая на ночь убежище людям, трудно сколачивающим, в течение дня, медные гроши на базарных столах и рундуках и в душевных камерах присутственных мест.

Я спустился к самой воде. В этом месте дневное движение еще не кончилось. Чиновники только что воротились с вечерних занятий и перед ужином расселись по крылечкам, в виду завтрашнего праздничного дня, обещающего им отдых. Тут же бегали и заканчивали свои игры и чиновничьи дети.

Сзади меня, на крыльце одинокого домика, не защищенного даже двором, сидело двое мужчин в халатах, которые курили папиросы и вели на сон грядущий беседу.

– А Харин-то ведь проиграл дело! – говорил один. – Что ты!

– Проиграл – это верно. Дурак – ну, и проиграл.

– Да ведь у всех на знат'и, что покойник рукой не владел перед смертью! Весь город знает, что Маргарита Ивановна уж на другой день духовную подделала! И писал-то отец протопоп!

– И подделала, и все это знают, и даже сам отец протопоп под веселую руку не раз проговаривался, и все же у Марга-

риты Ивановны теперь миллион чистоганом, а у Харина – кошель через плечо. Потому, дурак!

– Дурак-то дурак! однако, все-таки...

– Дурак – и больше ничего. Маргарита Ивановна предлагала ему мириться: «Бери, говорит, двадцать тысяч и ступай с богом», – зачем он не мирился! Зачем не мирился, коли знает, что он дурак! «Нет, говорит, подавай всё!» Это дураку-то! Где эти моды писаны! Опять, и отец протопоп, и Иван Ферапонтыч – предлагали они ему! Предлагали они ему: «Дай нам по десяти тысяч – всё по чистой совести покажем!» Скажем: «Подписались по неосмотрительности – и дело с концом». Зачем он не соглашался! Зачем не соглашался, коли сам знает, что он дурак! Маргарита Ивановна – та слова не сказала: сейчас вынула и отдала! А он кочевряжился! И хочь бы деньги с него просили, а то векселя. Ну, дал бы, а потом еще бабушка надвое сказала, какова бы по векселям-то получка была! Может быть, они совсем не его рукой подписаны? А может быть, они безденежные? Дурак!!

– Так неужто ж Маргарита Ивановна так-таки ничего и не даст?

– И не даст. Потому, дурак, а дураков учить надо. Ежели дураков да не учить, так это что ж такое будет! Пущай-ко теперь попробует, каково с сумой-то щеголять!

Собеседники смолкают. Слышится позевывание; папироски еще раз-другой вспыхнули и погасли. Через минуту я уже вижу в окно, как оба халата сидят у ненакрытого стола

и крошат в чашку хлеб.

– Дуррак! – раздается в темноте.

А у соседнего домика смех и визг. На самой улице девочки играют в горелки, несутся взапуски, ловят друг друга. На крыльце сидят мужчина и женщина, должно быть, отец и мать семейства.

– Этакой случай был – и упустил. Дурак! – укоряет женщина.

– Да ты знаешь ли, дура, чем Сибирь пахнет! – возражает мужчина.

– Для дурака, куда ни оглянись – везде Сибирь. Этакой случай упустил!

Женщина вздыхает и умолкает, но не надолго.

– Дурак! – повторяет она.

– Не муди ты меня, ради Христа! Дурак да дурак! Нешто я не вижу! И словно ведь дьявол меня осетил!

– И чего ты глядел! Счастье само в руки лезет, а он, смотри, нос от него воротит! Дуррак!

Мужчина, уличенный и подавленный, не возражает. Раздаются вздохи и позевота; изредка, сквозь сон, произносится слово «дурак» – и опять тихо. Но на улице, между играющими девочками, происходит смятение.

– Не в десятый раз мне гореть! Я первая ударила! – протестует жалобный голос одной из девочек.

– Ан я ударила! Я первая ударила! ты дура! ты и гори! – возражает другой голос, более мужественный и крепкий.

– Я первая ударила! не мне гореть! Маньке гореть!

Спор оживляется, но протестующая сторона видимо слабеет. Слышатся возгласы: «Дура! криворотая! ишь что выдумала!» и т. д. Возгласы готовы перейти в побоище.

– Цыц, паскуда! – раздается с крыльца.

Протесты мгновенно смолкают; горелки продолжают уж без шума, и только изредка безмолвие нарушается криком: «Дура! что, взяла?»

На третьем крыльце беседуют две сибирки.

– Наш хозяин нынче такую аферу сделал! такую аферу, что страсть! – отзывается одна сибирка.

– Уж что об вашем хозяине говорить! Хозяин – первый сорт! – отзывается другая сибирка.

– Нет, да ты вообрази! Продал он Семену Архипычу партию семени, а Семен-то Архипыч сдуру и деньги ему отдал. Стали потом сортировать, ан семя-то только сверху чистое, а внизу-то все с песком, все с песком!

– Дурак!

– Нет, ты вообрази! Все ведь с песком! Семен-то Архипыч даже глаза вытаращил: так, говорит, хорошие торговцы не делают!

– Дурак!

– А хозяин наш стоит да покатывается. «А у тебя где глаза были? – говорит. – Должен ли ты иметь глаза, когда товар покупаешь? – говорит. – Нет, говорит, вас, дураков, учить надо!»

– Дурак!

Дурак! дурак и дурак! – вот единственные выражения, которые раздаются в моих ушах. Мне становится наконец страшно. Куда деваться от этого паскудного, поганого слова? Десять дней сряду, прямо или косвенно, оно преследует меня; десять дней сряду я слышу наглый панегирик мошенничеству, присвоивающему себе наименование ума. Даже тут, в виду этой примиряющей ночи, только одно это слово и имеет какой-нибудь определенный смысл. Прислушайтесь к остальному говору – и вы наверное ничего из него не вынесете. Это сброд каких-то обрывков, ряд бродячих, ничем не связанных восклицаний, не имеющих даже характера проявления мысли. Детский, неосмысленный лепет, полусонное бормотание, в котором не за что ухватиться и нечего понимать, – вот что прежде всего поражает ваш слух. И вдруг прорывается слово «дурак» – и речь оживляется, начинает течь плавно и получает смысл. Все, что до сих пор бормоталось, все бессмысленные обрывки, которыми бесплодно сотрясался воздух, – все это бормоталось, копилось, нанизывалось и собиралось в виду одного всеразрешающего слова: «дурак!»

Я скорее побежал в гостиницу и, благо часы показывали одиннадцать, поехал на станцию железной дороги.

Нет! мы не просты!

Станция была тускло освещена. В зале первого класса господствовала еще пустота; за стойкой, при мерцании одинокой свечи, буфетчик дышал в стаканы и перетирал их грязным полотенцем. Даже мой приход не смутил его в этом наивном занятии. Казалось, он говорил: вот я в стакан дышу, а коли захочется, так и плюну, а ты будешь чай из него пить... дуррак!

Чтоб не сидеть одному, я направился в залу третьего класса. Тут, вследствие обширности залы, освещенной единственной лампой, темнота казалась еще гуще. На полу и на скамьях сидели и лежали мужики. Большинство спало, но в некоторых группах слышался говор.

– И как же он его нагрел! – восклицает некто в одной группе, – да это еще что – нагрел! Греет, братец ты мой, да приговаривает: помни, говорит! в другой раз умнее будешь! Сколько у нас смеху тут было!

– Дурак!

– Дурак и есть! Потому, ежели ты знаешь, что ты дурак, зачем же не в свое дело лезешь? Ну, и терпи, значит!

Я иду далее и слышу:

– Нет, ты слушай, как он немца объегорил. Вот так уж объегорил! Купил, братец, он у немца в роще четыреста сажен дров для фабрики, по три рубля за сажень. Ну, пере-

возил, значит, склал: милости просим, мол, Богдан Богданыч, ко мне в дом расчетец получить. Пришел Богдан Богданыч – он его честь честью: заедочков, шипучки и все такое. «Ну, говорит, пиши, Богдан Богданыч, расписку, пока я долг готовить буду». Стал это, как и путный, деньги считать, а немец ему тем временем живо расписку обработал. Только взял он у немца расписку посмотреть, видит – верно: тысячу двести рублей сполна получил. Да вместо того чтоб деньги-то отдать, он расписку-то вместе с деньгами – в карман. «Сам ты, говорит, передо мной, Богдан Богданыч, сейчас сознался, что деньги с меня сполна получил, следовательно, и дожидаться тебе больше здесь нечего».

– Ха-ха! вот, брат, так штука!

– Сколько смеху у нас тут было – и не приведи господи! Слушай, что еще дальше будет. Вот только немец сначала будто не понял, да вдруг как рявкнет: «Вор ты!» – говорит. А наш ему: «Ладно, говорит; ты, немец, обезьяну, говорят, выдумал, а я, русский, в одну минуту всю твою выдумку опроверг!»

– Молодец!

– Нет, ты бы на немца-то посмотрел, какая у него в ту пору рожа была! И испугался-то, и не верит-то, и за карман-то хватается – смехота, да и только!

– Просты еще насчет этих делов немцы! не выучены!

– Чего проще! просто дураки! совсем как оглашенные!

Далее; в третьей группе идет еще разговор.

– Нет, нынче как можно, нынче не в пример нашему брату лучше! А в четвертом году я чуть было даже ума не решился, так он меня истиранил!

– Что так?

– А вот как. Порядился я у него с артелью за тысячу рублей в деревне дом оштукатурить. Только он и говорит: «Нет, брат, Максим Потапыч, этак нельзя; надо, говорит, письменное условие нам промежду себя написать». – «Что же, говорю, Василий Порфирыч, условие так условие, мы от условий не прочь: писывали!» Вот он и сочинил, братец, условие, прочитал, растолковал; одно слово, все как следует. «Подпишись теперь», – говорит! Ну, мне чего! взял в руки перо, обмакнул, подписал – на беду грамотный! Только что бы ты думал, какую он, шельма, штуку со мной выкинул! Что я-то исполнить должен, то есть работу-то мою, всю расписал, как должно, а об себе вот что сказал: «А я, говорит, Василий Порфилов, обязуюсь заплатить за такую работу тысячу рублей, *буде мне то заблагорассудится!*»

– Вот те и капуста с маслом!

– И без масла хороша будет. Слушай, что дальше. Кончили мы работу – я за расчетом к нему. «Ну, говорит, спасибо, Потапыч, нечего сказать, работа – первый сорт! Ты, говорит, в разное время двести рублей уж получил, так вот тебе еще двести рублей – ступай с богом!» – «Как, говорю, двести! мне восемьсот приходится». Слово за слово – контракт! Тут, братец, и объяснил он мне, какую он, значит, пружину под

меня подвел! По-нынешнему, сейчас бы его к мировому – и шабаш! а в ту пору – ступай за сорок верст в полицейское управление. Гонял я, гонял – одна мне резолюция: сам подписывал, сам на себя и надейся! Два месяца мучился я таким манером – так ничего и не получил.

– Ловко он тебя объехал! Однако прост ведь и ты!

– Чего прост! совсем дурак!

– А дураков, брат, учить надо! Это и в законе так сказано!

Вот он тебя и поучил!

Меня берет зло. Я возвращаюсь в зало первого класса, где застаю уже в полном разгаре приготовления к ожидаемому поезду. Первые слова, которые поражают мой слух, суть следующие:

– Так он меня измучил! так надо мной насмеялся! Верите ли: даже во сне его увижу – так вся и задрожу.

– Очень уж вы, сударыня, просты!

Не ожидая дальнейших объяснений, я быстро перехожу через зало и достигаю платформы.

– Дурак! разиня! – объясняет жандарм стоящему перед ним растерявшемуся малому, – из-под ног мешок вытащили – не чует! Так вас и надо! Долго еще вас, дураков, учить следует!

Нет, мы не просты!



Бьет час; слышится сигнальный свист; поезд близко. Станция приходит в движение: поднимается шум, беготня, суета. В моих ушах, словно перекрестный огонь, раздаются всевозможные приветствия и поощрения. Дурак! разиня! простофиля! фалалей! Наконец, я добираюсь до вагона 2-го класса и бросаюсь на первую порожнюю скамью, в надежде уснуть.

Но, увы! летние ночи недолги. Не успеваем мы проехать трех станций, как в вагоне уже совсем светло. Сквозь беспокойную дорожную дремоту я слышу говор проснувшихся соседей, который, постепенно оживляясь и оживляясь, усиливается наконец до того, что нечего и думать о сне. Было четыре часа утра, когда я окончательно открыл глаза. Весь вагон бодрствовал; во всех углах шла оживленная беседа. Мой визави, чистенький старичок, как после оказалось, старого покроя стряпчий по делам, переговаривался с сидевшим наискосок от меня мужчиной средних лет в цилиндре и щегольском пальто. По-видимому, знакомство началось не далее как вчера вечером, но в речах обоих собеседников уже царствовала та интимность, которою вообще отличаются излияния людей, вполне чистых сердцем и не имеющих на душе ничего заветного.

— Ды вы знаете ли, как Балясины состояние приобрели? —

спрашивал старичок-стряпчий.

– Слыхал... да уж давно как-то...

– Так извольте, я вам расскажу. Жил-был в Москве некто Скачков...

– Позвольте! это тот Скачков, который...

– Ну, ну, ну – он самый! Еще в Новой Слободе свой дом был... Капитолина Егоровна потом купила...

– Это как от Каретного-то ряда пойдешь?..

– Ну, вот! вот он самый и есть! Так жил-был этот самый Скачков, и остался он после родителя лет двадцати двух, а состояние получил – счету нет! В гостином дворе пятнадцать лавок, в Зарядье два дома, на Варварке дом, за Москвой-рекой дом, в Новой Слободе... Чистоганом миллион... в товаре...

– Сс!!

– Словом сказать, туз! Только вот почувствовал молодой человек, что родительской воли над ним нет, – и устремился! Прохожего на улице увидит – хватай! лей ему на голову шампанского! – вот тебе двадцать пять рублей! Женщину увидит – волоки! Мажь дегтем! – вот тебе пятьдесят! Туз, да и только! Раз даже княгиню какую-то из бедных вымазали, так насилиу потом за четыре тысячи помирились! Я и мировую писал. Ну, само собой, окружили его друзья-приятели, пьют, едят, на рысаках по Москве гоняют, народ давят – словом сказать, все удовольствия, что только можно вообразить! Примазался тут и Балясин Петрушка. Видит наш Петр

Федорыч, что парень-то очень хорош, коли, тоись, в обделку его пустить. И умом прост, и сердце мягкое, и рука машистая. Одно нехорошо: приятелей очень уж много. Ежели между всеми в разделку его пустить – по сколько достанется? Пустяки какие-нибудь! Так ли-с?

– Да, коли женский пол дегтем часто мазать... не надолго – это так!

– Ну, вот изволите видеть. А Петру Федорычу надо, чтоб и недолго возжаться, и чтоб все было в сохранности. Хорошо-с. И стал он теперича подумывать, как бы господина Скачкова от приятелей уберечь. Сейчас, это, составил свой плант, и к Анне Ивановне – он уж и тогда на Анне-то Ивановне женат был. Да вы, чай, изволили Анну-то Ивановну знать?

– Как же! как же! Красавица была! всей Москве известна.

– Вот-вот-вот. Вот и говорит он ей: «Ты бы, Аннушка...» понимаете? – «Что ж, говорит, я с моим удовольствием!» И начали они вдвоем Скачкова усовещивать: «И что это ты все шампанское да шампанское – ты водку пей! И капитал целее будет, и пьян все одно будешь!» Словом сказать, такое омерзение к иностранным винам внушили, что под конец он даже никакой другой посуды видеть не мог – непременно чтоб был полштоф! Поселился он в ту пору у Балясиных, как в своем доме, и встал, и лег там. Проснется утром – полштоф! пиши вексель в тысячу рублей. Проснется к обеду – полштоф! пиши вексель в две тысячи рублей! Ужинать встанет – пол-

штоф! опять вексель в тысячу рублей. Вытянули они у него таким родом векселей на полмиллиона – он и душу богу отдал! Вот с тех пор и пошло у Балясиных состояние. И пошло им, и пошло! Теперь одних домов по Москве семь штук считают! На Ильинке-то дом чего стоит!

– Гм... прост был этот Скачков, рассказывают!

– Чего прост! одно слово: дурак! Дурак! как есть скотина!

– Ну, а Балясин-то умненько живет... этот не рассорит!

– Помилуйте! прекраснейшие люди! С тех самых пор, как умер Скачков... словно рукой сняло! Пить совсем даже перестал, в подряды вступил, откупа держал... Дальше – больше. Теперь церковь строит... в Елохове-то, изволите знать? – он-с! А благодеей-ево сколько! И как, сударь, благодеей-ево делает! Одна рука дает, другая не ведает!

– А Анна-то Ивановна... говорят, с приказчиком?

– Женщина-с! Слабость их женская!

– Ну, конечно. А впрочем, коли по правде говорить: что же такое Скачков? Ну, стоит ли он того, чтоб его жалеть!

– Помилуйте! дурак! как есть скотина! Ду-у-р-рак! Ну, а Петр Федорыч, смотрите, какой дом на Солянке по весне застроил! Всей Москве украшение будет!

– Так-с, а скажите, Капитолину-то Егоровну вы хорошо знаете?

– Капитолину-то Егоровну! Помилуйте! Еще в девицах, сударь, знал! Как она еще у отца, у Егора Прохорыча, в доме у Калужских ворот жила! вот когда знал! В переулке-то

большой дом, еще булочная рядом!

– Что них за история с мужем была? С дураком-то! Помилуйте! скотина! Да все как нельзя проще произошло! Извольте видеть: задумал он в ту пору невинно падшим себя объявить – ну, она, как христианка и женщина умная, разумеется, на всякий случай меры приняла... Дома и лавки на свое имя переписала, капитал тоже к рукам прибрала. Ну, разумеется, покуда что, покуда в коммерческом деле дело вели, покуда конкурс, покуда объявили невинно падшим – его, голубчика, в яму! А как выпустили из ямы-то, она уж его и не приняла! «Нет, говорит, ты, голубчик, по всем острогам сидеть будешь, а мне с тобой жить после того! Не приходится!» Только всего и дела было.

– Сс, чем же он, однако, теперь живет?

– Так кое-когда Капитолина Егоровна из своих средств кое-что дает. Да зачем и давать! Сейчас получил – сейчас в кабак снес!

– Да, прост-таки Иван Гаврилыч! на порядках прост!

– Помилуйте! дурак! Коли этаких дураков не учить, кого ж после того учить надо?

Несколько секунд молчания.

– Так вы говорите, что это можно? – вновь заводит речь цилиндр, по-видимому, возвращаясь к прежде прерванному разговору.

– Помилуйте! как же не можно! в субботу торги назначены! Как мне не знать: я сам со стороны купца Толстопятова

в конкурсе состою!

– Можно, стало быть?

– Да уж будьте покойны! Вот как: теперича в Москву приедем – и не беспокойтесь! Я все сам... я сам все сделаю! Вы только в субботу придите пораньше. Не пробьет двенадцати, а уж дом...

– Право, мне совестно! для первого знакомства, и, можно сказать, такое одолжение!

– Помилуйте! за что же-с! Вот если б Иван Гаврилыч просил или господин Скачков – ну, тогда дело другое! А то просит человек основательный, можно сказать, солидный... да я за честь...

Цилиндр протягивает стряпчему руку и крепко пожимает руку последнего.

– Одного я боюсь, – говорит он, – чтоб Тихон Никанорыч сам не явился на торги!

– Он-то! помилуйте! статочное ли дело! Он уж с утра муху ловит! А ежели явится – так что ж? Милости просим! Сейчас ему в руки бутылъ, и дело с концом! Что угодно – все подпишет!

Цилиндр сладко вздыхает и несколько секунд молча улыбается.

– Да, простенок-таки почтеннейший Тихон Никанорыч! – наконец произносит он с новым вздохом.

– Помилуйте! Скотина! На днях, это, вообразил себе, что он свинья: не ест никакого корма, кроме как из корыта, –

да и шабаш! Да ежели этаких дураков не учить, так кого же после того и учить!

Между тем поезд замедляет ход; мы приближаемся к станции.

– Станция Александровская! поезд стоит десять минут! – провозглашает кондуктор.

Мы высыпаем на платформы и спешим проглотить по стакану скверного чая. При последнем глотке я вспоминаю, что пью из того самого стакана, в который, за пять минут до прихода поезда, дышал заспанный мужчина, стоящий теперь за прилавком, дышал и думал: «Пьете и так... дураки!» Возвратившись в вагон, я пересаживаюсь на другое место, против двух купцов, с бородами и в сибирках.

– Да, – говорит один из них, – нынче надо держать ухо востро! Нынче чуть ты отвернулся, ан у тебя тысяча, а пожалуй, и целый десяток из кармана вылетел. Вы Маркова-то Александра знавали? Вот что у Бакулина в магазине в приказчиках служил? Бывало, все Сашка да Сашка! Сашка, сбегай туда! Сашка, рыло вымой! А теперь, смотри, какой дом на Волхонке взбодрил! Вот ты и думай с ними!

– Да... народ нынче! Да ведь и Бакулин-то прост! ну, как-таки так? – замечает другая сибирка.

– Чего прост! Дурак как есть! Дураком родился, дураком и умрет! Потому и учат. Кабы на дураков да не плеть, от них житья бы на свете не было!

Я опять пересаживаюсь на другое порожнее место, против

двоих молодых людей, которые оказываются приказчиками.

– Наш хозяин гениальный! – говорит один из них, – не то что просто умный, а поднимай выше! Знаешь ли ты, какую он на днях штуку с братом с родным сыграл?

– А что?

– Да такую, братец, штуку... вот так уж штука! Приезжает он к брату на именинный пирог, а стряпчий – братнин, то-ись, стряпчий – и говорит ему: «Поздравьте, говорит, братца! Какую они вчера купку сделали!» – «Какая такая покупка?» – спрашивает наш-то. «А вот, говорит, за двадцать верст отселе у господина помещика лес за сорок тысяч купили, а лесу-то там по дешевой цене тысяч на двести будет». – «Верно ты говоришь?» – «Вот как перед истинным!» – «Задаток дан?» – «Нет, сегодня вечером отдавать будет». – «Ай-да! пять тысяч тебе в зубы – молчок!» И притворился он, будто как у него живот болит – ей-богу! – да от именинника-то прямо к помещику. Сорок пять тысяч посулили, задаток отдали, да не глядя лес и купили!

– Молодец! Брат-то что ж?

– Ничего; даже похвалил. «Ты, говорит, дураком меня сделал – так меня и надо. Потому ежели мы дураков учить не будем, так нам самим на полку зубы класть придется».

Наконец я решаюсь, так сказать, замереть, чтобы не слышать этот разговор; но едва я намереваюсь привести это решение в исполнение, как за спиной у меня слышу два старушечьих голоса, разговаривающих между собою.

— Ему, сударыня, только понравиться нужно, — рассказывает один голос, — пошутить, что ли, мимику там какую-нибудь сделать, словом, рассмешить... Сейчас он тебе четвертную, а под веселую руку и две. Ну, а мой-то и не понравился!

— Прост, что ли, он у вас, сударыня?

— Какой уж прост! Прямо надо сказать: дурак! Ни он пошутить, ни представить что-нибудь... ну, и выгнали! И за дело, сударыня! Потому ежели дураков да не учить...

Я окончательно замираю, но и сквозь дремоту слышу:

— Дурак! Скотина — и больше ничего!

Нет! мы не просты!

* * *

В Пушкине в наш вагон врывается целая толпа немцев и французов. Все это местные воротилы: фабриканты, заводчики, лесопромышленники и проч. Между ними есть несколько и русских. На сцену выдвигаются местные вопросы: во-первых, вопрос сенной, причем предсказывается, что сено будет зимой продаваться в Москве по рублю за пуд; во-вторых, вопрос дровяной, причем предугадывается, что в непродолжительном времени дрова в Москве повысятся до двадцати рублей за сажень швырка. Русские воротилы над всеми этими «вопросами» посмеиваются; немецкие смотрят солидно.

— Вы всё смеетесь, господа! — говорит один из немцев рус-

скому воротиле, – но подумайте, куда вы идете!

– Ничего, Федор Иваныч! – отвечает воротила-русак, – покуда на свете дураки есть – жить можно!

А между тем какой-то француз патетически выкрикивает панегирик Москве, сравнивает ее с Петербургом и восклицает:

– Petersbourg est beau! Moscou est grand! Moscou est sublime! Jamais, au grand jamais, meme a Paris, mon coeur n'a battu avec autant de force, comme au moment lorsque la sainte cite de Moscou («святая Москва!» перевел он по-русски) s'est decouverte pour la premiere fois a mes yeux! C'etait quelque chose d'ineffable! Parole d'honneur!³

– Барышки хорошие получаете, Анатолий Филипыч! вот и понравилось! – сшутил кто-то из русских.

Нет! мы не просты!

* * *

– Что ж дальше? – спросит меня читатель. – Зачем написан рассказ? Будет ли нравоучение?

Далее мы пролетели мимо Сокольничьей рощи и приехали в Москву. Вагоны, в которых мы ехали, не разбились

³ Петербург прекрасен! Москва велика! Москва величественна! Никогда, никогда, даже в Париже, мое сердце не билось с такой силой, как в тот момент, когда святая Москва впервые открылась моим глазам. Это что-то невыразимое! Честное слово! (франц.)

вдребезги, и земля, на которую мы ступили, не разверзлась под нами. Мы разъехались каждый по своему делу и на всех перекрестках слышали один неизменный припев: дурррак!

Будет ли нравоучение? Нет, его не будет, потому что нравоучения вообще скучны и бесполезны. Вспомните пословицу: ученого учить – только портить, – и раз навсегда откажитесь от роли моралиста и проповедника. Иначе вы рискуете на первом же перекрестке услышать: «Дурак!»

Зачем писан рассказ? А хоть бы затем, милостивые государи, чтоб констатировать, какие бывают на свете *благодатные речи*.

ОХРАНИТЕЛИ

В сем омуте, где с вами я

Купаюсь, милые друзья...

Пушкин

Троекратный пронзительный свист возвещает пассажирам о приближении парохода к пристани. Публика первого и второго классов высыпает из кают на палубу; мужики крестятся и наваливают на плечи мешки. Жаркий июньский полдень; на небе ни облака; река сверкает. Из-за изгиба виднеется большое торговое село Л., все залитое в лучах стоящего на зените солнца.

Но вот и пристань. Пароход постепенно убавляет ходу; рокочущие колеса его поворачиваются медленнее и медленнее; лоцмана стоят наготове, с причалами в руках. Еще два-три взмаха – пароход дрогнул и остановился. В числе прочих пассажиров ссаживаюсь в Л. и я, в ожидании лошадей для дальнейшего путешествия.

Прежде, когда все было просто, и здесь была пристань простая. Устройство ее как будто говорило пассажиру: «Беги сих мест! лезь на кручу, нанимай лошадей и поезжай на все четыре стороны». И лезет, бывало, пассажир, меся ногами глину, по отвесной почти крутизне, лезет изо всех сил, спотыкаясь и тяжело дыша. Теперь прежней простоты не

осталось и следа. От баржи, на которой устроена пароходная пристань, ведет в гору деревянная лестница, довольно отлогая; в двух местах ее в горе вырыты площадки, на которых устроены тесовые навесы и поставлены столы и скамьи; на самом верху береговой кручи стоит трактир. Все эти удобства обязаны своим существованием местному трактирщику, человеку предприимчивому и ловкому, которого старожилы здешние еще помнят, как он мальчиком бегал на босу ногу по улицам, и который вдруг как-то совсем неожиданно из простого полового сделался «хозяином».

Молва не любит этого человека и называет его вором и кровопивцем. Говорят, что он соблазнил жену своего хозяина и вместе с нею обокрал последнего, что он судился за это и даже был оставлен в подозрении; но это не мешает ему быть одним из местных воротил и водить компанию с становым и тузами-капиталистами, которых в Л. довольно много. Трактир свой он устроил на городскую ногу: с половыми в белых рубашках и с поваром, одним из вымирающих обломков крепостного права, который может готовить не только селянку, но и настоящее кушанье. Сюда стекается не только контингент, ежедневно привозимый пароходами, но и весь деловой люд, снующий с утра до вечера по базарной площади и за парой чая кончающий значительные сделки. Здесь гремит недавно выписанная из Москвы машина (а иногда и странствующий жидовский оркестр), и под ее гудение, среди духоты и кухонных испарений, обделывают свои дела «но-

вые люди» (они же и краугольные камни) нашего времени: маклаки, кулаки, сводчики, кабатчики, закладчики, лесники и пр.

Вместе со мной сошел в Л. молодой человек, которого я заметил еще на пароходе. Он сел за один переход до Л. и в течение этого переезда вел себя совершенно молчаливо. Вошел в каюту и улегся на диван, не спросив даже рюмки водки, – поступок, которым, как известно, ознаменовывает свое прибытие всякий сколько-нибудь сознающий свое достоинство русский пассажир. Наружность он имел совершенно приличную, даже джентльменскую; одет был в легкую визитку и вещей имел очень мало: небольшой ручной сак, сумку через плечо и плед. С первого взгляда я принял его за одного из ближних помещиков, отправляющегося в гости к соседу.

Поднимаясь в гору, мы разговорились.

– Вы, кажется, здешний? – спросил он меня.

– Верст двадцать отсюда мое имение.

– И автор «Благонамеренных речей»?

– Да.

– Читал-с.

Несколько ступенек мы прошли молча.

– Не совсем одобряю я вашу манеру, – продолжал он. – Неясно. Умаление семейных добродетелей, неуважение чужой собственности, запутанность понятий о любви к отечеству... Конечно, это программа очень благодарная, но ведь

тут самое важное – отношение автора к этим вопросам дня. Читая вас, кажется, что вы на все эти «признаки времени» не шутя прогневаны. Вам хотелось бы, чтоб мужья жили с женами в согласии, чтобы дети повиновались родителям, а родители заботились о нравственном воспитании детей, чтобы не было ни воровства, ни мошенничества, чтобы всякий считал себя вправе стоять в толпе разиня рот, не опасаясь ни за свои часы, ни за свой портмоне, чтобы, наконец, представление об отечестве было чисто, как кристалл... так, кажется?

– Предоставляю вам, как читателю, выводить те заключения, какие вы сочтете нужным...

– Или, говоря другими словами, вы находите меня, для первой и случайной встречи, слишком нескромным... Умолкаю-с. Но так как, во всяком случае, для вас должно быть совершенно индифферентно, одному ли коротать время в трактирном заведении, в ожидании лошадей, или в компании, то надеюсь, что вы не откажетесь напиться со мною чаю. У меня есть здесь дельце одно, и ручаюсь, что вы проведете время не без пользы.

– Согласен, но прежде позвольте...

– Сергей Иванов Колотов, к вашим услугам. Здешний исправник.

Я взглянул на него с некоторым недоумением.

– Я понимаю: вам кажется странным, что такой, можно сказать, юнец, как я, несет столь непосильное бремя, как

бремя, сопряженное с званием исправника. Но не забудьте, что в настоящее время мы все живем очень быстро и что вообще чиновничья мудрость измеряется нынче не годами, а плотностью и даже, так сказать, врожденностью консервативных убеждений, сопровождаемых готовностью, по первому трубному звуку, устремляться куда глаза глядят. Мы все здесь, то есть вся воинствующая бюрократическая армия, мы все – молодые люди и все урожденные консерваторы. Есть старшие молодые люди, и есть младшие молодые люди. Исправником я лишь с недавнего времени, а прежде состоял при старшем молодом человеке в качестве младшего молодого человека и, должно сознаться, блаженствовал, потому что обязанности мои были самые легкие. Я возлежал на лоне моего принципала (он мой товарищ по школе, но более счастливый карьерист, нежели я), сказывал ему консервативные сказки, вместе с ним мечтал об английских лордах и правящих сословиях и вообще кормил его печатными пряниками. Но в скором времени все это изменилось. Пошли в ход «превратные толкования»; явилось на сцену «настроение умов», а там недалеко уж и до «doctrines les plus detestables»...⁴ Словом сказать, понадобился «глаз». Et, ma foi!.. me voila ispravnik!⁵

Высказавши эту рацею, он бойко взглянул мне в лицо, как будто хотел внушить: а что, брат, не ожидал ты, что в этом

⁴ мерзейших доктрин (франц.)

⁵ И вот я – исправник! (франц.)

захолустье встретишь столь интересного и либерального собеседника?

Я догадался, что имею дело с бюрократом самого новейшего закала. Но – странное дело! – чем больше я вслушивался в его рекомендацию самого себя, тем больше мне казалось, что, несмотря на внешний закал, передо мною стоит все тот же достолюбезный Держиморда, с которым я когда-то был так приятельски знаком. Да, именно Держиморда! Почищенный, приглаженный, выправленный, но все такой же балагур, готовый во всякое время и отца родного с кашей съесть, и самому себе в глаза наплевать...

Я всегда чувствовал слабость к русской бюрократии, и именно за то, что она всегда представляла собой, в моих глазах, какую-то неразрешимую психологическую загадку. Несмотря на все усилия выработать из нее бюрократию, она ни под каким видом не хочет сделаться ею. Еще на глазах у начальства она и туда и сюда, но как только начальство за дверь – она сейчас же язык высунет и сама над собою хохочет. Представить себе русского бюрократа, который относился бы к себе самому, яко к бюрократу, без некоторого глумления, не только трудно, но даже почти невозможно. А между тем бюрократствуют тысячи, сотни тысяч, почти миллионы людей. Миллион ходячих психологических загадок! Миллион людей, которые сами на себя без смеха смотреть не могут, – разве это не интересно?

Я думаю, что наше бывшее взяточничество (с удоволь-

ствием употребляю слово «бывшее» и даже могу удостоверить, что двугривенных ныне воистину никто не берет) очень значительное содействие оказало в этом смысле. Взяточничество располагало к изливаниям дружества и к простоте отношений; оно уничтожало преграды и сокращало расстояния; оно прекращало бюрократический индифферентизм и делало сердце чиновника доступным для обывательских невзгод. Какая, спрашивается, была возможность выработать бюрократа из Держиморды, когда он за двугривенный в одну минуту готов был сделаться из блюстителя и сократителя другом дома? Предположите, например, хоть такой случай: Держиморда имеет поручение превратить ваше бытие в небытие. Что он очень хорошо знает, какую механику следует подвести, чтоб вы в одну минуту перестали существовать, — в этом, конечно, сомневаться нельзя; но, к счастью, он еще лучше знает, что от прекращения чьего-либо бытия не только для него, но и вообще ни для кого ни малейшей пользы последовать не должно. И вот он начинает маневрировать. Прежде всего он старается поразить ваше воображение и с этою целью является в сопровождении целого арсенала прекратительных орудий. Потом он напускает на себя юпитеровскую важность, потрясает плечами, жестикулирует и сквернословит басом. Словом сказать, приступает к делу словно и путный. Но не падайте духом перед этими военными хитростями, не убеждайте, не оправдывайтесь, но прямо вынимайте двугривенный. Как только двугривенный

блеснул ему в глаза – вся его напускная, ненатуральная важность мгновенно исчезла. Прекратительных орудий словно как не бывало; дело о небытии погружается в один карман, двугривенный – в другой; в комнате делается светло и радостно; на столе появляется закуска и водка... И вот перед вами Держиморда – друг дома, Держиморда – муж совета. Двугривенный прояснил его мысли и вызвал в нем те лучшие инстинкты, которые склоняют человека понимать, что бытие лучше небытия, а препровождение времени за закуской лучше, нежели препровождение времени в писании бесплодных протоколов, на которые еще бог весть каким оком взглянет Сквозник-Дмухановский (за полтинник ведь и он во всякое время готов сделаться другом дома). Сообразив все это, он выпивает рюмку за рюмкой, и не только предает забвению вопрос о небытии, но вас же уму-разуму учит, как вам это бытие продолжить, упрочить и вообще привести в цветущее состояние. Через полчаса его уже нет; он все выпил и съел, что видел его глаз, и ушел за другим двугривенным, который уже давно заприметил в кармане у вашего соседа. Вы расквитались, и хотя в вашей мошне сделалось одним двугривенным меньше, но не ропщите на это, ибо, благодаря этой монете, при вас остался драгоценнейший дар творца: ваше бытие.

Как хотите, а это своего рода *habeas corpus*.⁶

Это до такой степени справедливо, что когда Держиморда

⁶ закон о неприкосновенности личности (*лат.*)

умер и преемники его начали относиться к двугривенным с презрением, то жить сделалось многим тяжелее. Точно вот в знойное, бездождное лето, когда и без того некуда деваться от духоты и зноя, а тут еще чуются в воздухе признаки какой-то неслыханной повальной болезни.

– Тяжело, милый друг, народушке! ничем ты от этой бодести не откупишься! – жаловались в то время друг другу обыватели и, по неопытности, один за другим прекращали свое существование.

Но, к счастью, такое суровое время проскочило довольно скоро. Благодаря Держиморде и долговременной его практике, убеждение, что дело о небытии не имеет в себе ничего серьезного, установилось настолько прочно, что обыватели скоро одумались. Не помогли ни неуклонность, ни неумытость, ни вразумления, ни мероприятия: жертвою их сделались лишь первые, застигнутые врасплох обыватели. Затем все постепенно вошло в колею. Напрасно старались явившиеся на смену Держимордам безукоризненные молодые люди уверять и доказывать, что бюрократия не праздное слово, – никто не поверил им. У всех еще на памяти замасленный Держимордин халат, у всех еще в ушах звенит раскатистый Держимордин смех – о чем же тут, следовательно, толковать! И вот молодые бюрократы корчатся, хмурят брови, надсаживают свои груди, принимают юпитеровские позы, а им говорят:

– Ты не пугай – не слишком-то испугались! У самого Ан-

тона Антоныча (Сквозник-Дмухановский) в переделе бывали – и то живы остались! Ты дело говори: сколько тебе следует?

– Ничего мне не надо! мне надо, чтоб вы прекратили свое существование! – усовещивали молодые бюрократы неверующих.

– Да ты подумай, что ты сказал! Ты на бога-то посмотри!

Рассудите сами, какой олимпиец не отступит перед этою беззаветною наивностью? «Посмотри на бога!» – шутка сказать! А ну, как посмотришь, да тут же сквозь землю провалишься! Как не смутиться перед этим напоминанием, как не воскликнуть: «Бог с вами! живите, множитесь и наполняйте землю!»

Так именно и поступили молодые преемники Держиморды. Некоторое время они упорствовали, но, повсюду встречаясь с невозмутимым «посмотри на бога!», – поняли, что им ничего другого не остается, как отступить. Впрочем, они отступили в порядке. Отступили не ради двугривенного, но гордые сознанием, что независимо от двугривенного нашли в себе силу простить обывателей. И чтобы маскировать неудачу предпринятого ими похода, сами поспешили сделать из этого похода юмористическую эпопею.

С тех пор отличительным характером русской бюрократии сделалось ироническое отношение к самой себе. Прежние Держиморды халатничали; нынешние Держиморды увеселяют и амикошонствуют.

Словом сказать, настоящих, «отпетых» бюрократов, которые не прощают, очень мало, да и те вынуждены вести уединенную жизнь. Даже таких немного, которые прощают без подмигиваний. Большая же часть прощает с пением и танцами, прощает и во все колокола звонит: вот, дескать, какой мы маскарад устраиваем!

Я знаю многих строгих моралистов, которые находят это явление отвратительным. Я же хотя и не имею ничего против этого мнения, но не могу, с своей стороны, не присовокупить: живем помаленьку!

Только в одном случае и доньше русский бюрократ всегда является истинным бюрократом. Это – на почтовой станции, когда смотритель не дает ему лошадей для продолжения его административного бега. Тут он вытягивается во весь рост, надевает фуражку с кокардой (хотя бы это было в комнате), скрежещет зубами, сует в самый нос подорожную и возглашает:

– Да ты знаешь ли, курицын сын, с кем дело имеешь? ты это видишь? уткнись рылом-то в подорожную! уткнись! прочитай!

Но, богу споспешествуя, надо надеяться, что, с развитием железных путей, и на почтовых станциях число случаев проявления бюрократизма в значительной степени сократится.

Кстати: говоря о безуспешности усилий по части насаждения русской бюрократии, я не могу не сказать несколько

слов и о другом, хотя не особенно дорогое моему сердцу явлению, но которое тоже играет не последнюю роль в экономике народной жизни и тоже прививается с трудом. Я разумею соглядатайство.

Соглядатай-француз – вот истинный мастер своего дела. Это соглядатай – бритва. Во-первых, он убежден, что делает дело; во-вторых, он знает, что ему надобно, и, в-третьих, он никогда сам не втюрится. Вот три капитальные качества, которые делают из него мастера. Он подслушивает со смыслом и в массе подслушанного умеет на лету различить существенное от ненужных околичностей. Это сберегает ему пропасть времени. Он не остановит своего внимания на пустяках, не пожалуется, например, на то, что такой-то тогда-то говорил, что человек происходит от обезьяны, или что такой-то, будучи в пьяном виде, выразился: хорошо бы, мол, Верхоянск вольным городом сделать и порто-франко в нем учредить. Ему нет дела ни до верхоянской автономии, ни до происхождения человека. Он подслушивает только то, что в данный момент и при известных условиях представляет действительный подслушивательный интерес. Подслушает, устроит всю нужную обстановку и тогда уже и пожалуется. И при этом непременно самого себя убережет. Он не станет, в видах поощрения, воровать вместе с вором и не полезет в заговор вместе с заговорщиком. Одним словом, никогда не поступит так, что потом и не разберешь, соглядатай ли он или действительный вор и заговорщик. Он облюбует и на-

травит свою жертву издалека, почти не прикасаясь к ней и строго стараясь держаться в стороне, в качестве благородного свидетеля.

Итак, настоящий, серьезный соглядатай – это француз. Он быстр, сообразителен, неутомим; сверх того, сухощав, непотлив и обладает так называемыми *jarrets d'acier*.⁷ Немец, с точки зрения усердия, тоже хорош, но он уже робок, и потому усердие в нем очень часто извращается опасением быть побитым. Жид мог бы быть отличным соглядатаем, но слишком торопится. О голландцах, датчанах, шведах и проч. ничего не знаю. Но русский соглядатай – положительно никуда не годен.

Прежде всего он рохля; он – тот человек, про которого сказано, что он в воде онучи сушит. Он никогда не знает, что ему надобно, и потому подслушивает зря и, подслушавши, все кладет в одну кучу. Во-вторых, он невежествен и потому всегда поражается пустяками и пугается самых обыкновенных вещей. Прокалив их в горниле своего разнузданного воображения, он с необыкновенною любовью размазывает их и этим очень легко вводит в заблуждение. Он лжет искренно, без всякой для себя пользы и притом почти всегда со слезами на глазах, и вот это-то именно и составляет главную опасность его лжей, – опасность, к сожалению, весьма немногими замечаемую и вследствие этого служащую источником бесчисленных промахов. В-третьих, русский соглядатай или по-

⁷ стальными мышцами (*франц.*)

вадлив, или тщеславен. Ежели он повадлив, то всегда начинает с выпивки и потом, постепенно сдружаясь с предметом своих наблюдений, незаметно принимает его нравы и обычаи. Следя за вором, украдет сам, следя за заговорщиком, сам напишет прокламацию. И за это, к собственному удивлению, попадет на каторгу. Ежели он тщеславен, то любит, чтоб его разумели благородным человеком, называли масоном и относились к нему с ласкою и доверием. Он обожает слезы и без ума от раскаяния. Выплачьте у него на груди ваше заблуждение, скажите ему при этом, что он масон, — он простит. Он даже предупредит вас в случае надобности, разумеется, оговорившись: «Пожалуйста, между нами». И впрочем, тут же и другому, и третьему скажет: «Это я! я предупредил! нужно спасти благородного молодого человека!»

Но попробуйте сказать ему, что он совсем не масон...

И таким образом проходят годы, десятки лет, а настоящих, серьезных соглядатаев не нарождается, как не нарождается и серьезных бюрократов. Я не говорю, хорошо это или дурно, созрели мы или не созрели, но знаю многих, которые и в этом готовы видеть своего рода *habeas corpus*.

Такого рода мысли невольно представились мне, покуда Колотов зарекомендовывал себя.

— А знаете ли, — сказал я, — прежде, право, лучше было. Ни о каких настроениях никто не думал, исправники внутреннею политикой не занимались... отлично!

— Да-с, но вы забываете, что у нас нынче смутное вре-

меня стоит. Суды оправдывают лиц, нагрубивших квартальным надзирателям, земства разговаривают об учительских семинариях, об артелях, о сыроварении. Да и представителей нравственного порядка до пропасти развелось: что ни шаг, то доброхотный ревнитель. И всякий считает долгом предупредить, предостеречь, предупредить, указать на предстоящую опасность... Как тут не встревожиться?

– Следовательно, в настоящую минуту вы находитесь в экскурсии по предмету «настроения умов»?

– Да, я еду из З., где, по «достоверным сведениям», засело целое гнездо неблагонамеренных, и намерен пробить до сегодняшнего вечернего парохода в Л., где, по тем же «достоверным сведениям», засело другое целое гнездо неблагонамеренных. Вы понимаете, два гнезда на расстоянии каких-нибудь тридцати – сорока верст!

– Однако, какая пропасть гнезд! А мы-то, простаки, едим, ходим, едим, пьем, посягаем – и даже не подозреваем, что все эти отправления совершаются нами в самом, так сказать, круговороте неблагонамеренностей!

– Да-с; вот вы теперь, предположим, в трактире чай пьете, а против вас за одним столом другой господин чай пьет. Ну, вы и смотрите на него, и разговариваете с ним просто, как с человеком, который чай пьет. Бац – ан он неблагонадежный!

– Сколько опасностей!

– Опасностей нынче очень много, а главную опасность представляет дурная привычка употреблять в разговоре муд-

ренные слова. Надобно непременно оставить эту привычку и стараться говорить как можно проще, особенно в трактирах и в домах терпимости. Возьмем, для примера, хоть слово «ассоциация». В сущности, оно до того вошло в литературный обиход, что никого уже не пугает. Но трактиры и дома терпимости придерживаются еще академического словаря, в который это слово не попало. Поэтому, ежели вы там произнесете слова вроде «ассоциация, ирригация, аберрация» – все равно: половые и погибшие создания все-таки поймут, что вы распространяете революцию.

– Приму ваше наставление к сведению. Но скажите на милость, чем же собственно занимаются лица, принадлежащие к сословию неблагонамеренных?

– Занимаются они, по большей части, неблагонамеренностями, откуда происходит и самое название: «неблагонамеренный». В частности же, не по-дворянски себя ведут. Так, например, помещик Анпетов пригласил нескольких крестьян, поселил их вместе с собою, принял их образ жизни (только он Лаферма папиросы курит, а они тютюн), и сам наравне с ними обрабатывает землю.

– Сам пашет?

– Сам в первой сохе и в первой косе. Барыши, однако, они делят совершенно сообразно с указаниями экономической науки: сначала высчитывают проценты на основной и оборотный капиталы (эти проценты неблагонамеренный берет в свою пользу); потом откладывают известный процент на

вознаграждение за труд по ведению предприятия (этот процент тоже берет неблагонамеренный, в качестве руководителя работ); затем остальное складывают в общую массу.

– Гм!.. капитал-то, стало быть, уважает?

– Даже очень уважает.

– Что же тут... ах, да! понимаю! «Остальное складывают в общую массу»... стало быть, и ленивый, и ретивый... да! это так! ведь это почти что «droit au travail».⁸

– Ну, до этого-то еще далеко! Они объясняют это гораздо проще; во-первых, дробностью расчетов, а во-вторых, тем, что из-за какого-нибудь гривенника не стоит хлопотать. Ведь при этой системе всякий старается сделать все, что может, для увеличения чистой прибыли, следовательно, стоит ли усчитывать человека в том, что он одним-двумя фунтами травы накосил меньше, нежели другой.

– Так что же тут... впрочем, конечно, оно странновато: помещик – и сам пашет! Однако, ведь с другой стороны, он, может быть, ни к чему другому и не способен применить свой труд, кроме обделки земли! Может быть, все его самолюбие в том именно и заключается, чтоб быть в первой сохе и в первой косе? Ведь вы знаете, что Людовик Шестнадцатый, например, даже хвастался тем, что был отличным токарем? Я даже думаю, что самая система вознаграждения рабочих, в форме участия в чистой прибыли, есть штука очень хитрая, потому что она заставляет рабочего тщательнее относиться

⁸ право на труд (франц.)

к своей работе и тем косвенно содействует возвышению ценности земли. То есть опять же в карман собственнику капитала.

– Все это возможно, а все-таки «странно некако». Помните, у Островского две свахи есть: сваха по дворянству и сваха по купечеству. Вообразите себе, что сваха по дворянству вдруг начинает действовать, как сваха по купечеству, – ведь зазорно? Так-то и тут. Мы привыкли представлять себе землевладельца или отдыхающим, или пьющим на лугу чай, или ловящим в пруде карасей, или проводящим время в кругу любезных гостей – и вдруг: первая соха! Неприлично-с! Не принято-с! Возмутительно-с!

– Но ведь нынче значительное число «дворянских гнезд» попало в руки купцов, кабатчиков, лесников; стало быть, и самые способы распоряжения земельною собственностью, силою вещей, изменили характер?

– Это так; но ведь и кабатчики нынче стараются действовать «по-благородному». Сидят в тени, чай пьют, варенье варят, да тут же между отдыхом и мужичков обсчитывают.

– Через кого же вы эти сведения о настроении умов получаете?

– А мало ли отставных поручиков, штабс-капитанов, губернских и коллежских секретарей без дела шатается! Все они нынче возмнили себя представителями нравственного порядка и борьбы. Живется этим ревнителям, правду сказать, довольно-таки холодно и голодно, а к делу они ника-

ким манером пристроиться не могут. Так-таки со времени упразднения крепостного права и «висят на воздушях». Ни в управу, ни в мировые судьи – никуда их не пускают. Вот как забаллотировывают их, они и начинают полегоньку перебирать то того, то другого из той партии, которая восторжествовала на выборах. И сейчас – предостереженьице!

– Однако какая гадость у вас здесь развелась!

– Всё больше от бедности и от огорчения. Какие у этих ревнителей нравственного порядка усадьбы, чем они в этих усадьбах кормятся, в каких рубищах ходят! – это даже представить себе трудно. Дрянной народ, сплетник народ. Да вот я сейчас познакомлю вас с одним капитаном из этой породы. Когда-то он служил здесь по выборам, потом судился за скрытие убийства и был изгнан со службы; потом засек свою дворовую девку, опять судился и оставлен в подозрении... словом, целый формуляр. А теперь вот «добрые начала» поддерживает! Да еще какой ехидный – что ни неделя, то извещение!

– И вы верите этим сплетням?

– Ну, я-то, собственно, с юмористической точки зрения...

– Позвольте! Но ведь вы должны же дать отчет... ну, хоть в том, что имеет произойти сегодня?

– Отчет? А помнится, у вас же довелось мне вычитать выражение: «ожидать поступков». Так вот в этом самом выражении резюмируется программа всех моих отчетов, прошедших, настоящих и будущих. Скажу даже больше: отчет свой

я мог бы совершенно удобно написать в моей к – ской резиденции, не ездивши сюда. И ежели вы видите меня здесь, то единственно только для того, чтобы констатировать мое присутствие.

Он снова бойко взглянул мне в лицо, и я постарался воспользоваться этим случаем, чтобы уловить в его физиономии хоть тень замешательства. Но, к сожалению, ничего подобного поймать не мог. Бывают люди, которые накидывают на себя бойкость именно для того, чтоб маскировать известную неловкость положения, но в Колотове, по-видимому, даже не было ни малейшего сознания какой-либо неловкости. Он вполне искренно пользовался наилучшим настроением духа и остроумничал на свой собственный счет совершенно непринужденно и весело.

* * *

Мы вели разговор на площадке перед трактиром. Из «заведения» до нас доносился бестолковый говор угощающегося люда, смешанный с звоном чайной посуды и с звуками «miserere»,⁹ наигрываемого машиною. Обоняние наше было тоже не совсем приятно поражаемо запахом прели, помоев, табачного дыма и кухонного чада, вылетающим из открытых настежь окон трактира. Ввиду свежести, несшейся с ре-

⁹ помилуй мя, господи (лат.)

ки, среди царствующего окрест безмолвия, трактир казался какою-то безобразною клоакой, населенной неугомонными, поедающими друг друга гадами. Все это делало перспективу предстоявшего чаепития до того несоблазнительною, что я уж подумывал, не улепетнуть ли мне в более скромное убежище от либерально-полицейских разговоров моего случайного собеседника!

— А вот и мой капитан! — воскликнул Колотов, — эге! да с ним еще кто-то: поп, кажется! Они тоже нонче ударились во все тяжкие по части охранительных начал!

Я взглянул на вышку трактира. Там, в открытом окне, стояла длинная фигура и махала платком в нашу сторону. Из-за нее выглядывало действительно нечто похожее на попа. Длинная фигура показалась мне как будто знакомою.

Через минуту мы уже были на вышке, в маленькой комнате, которой стены были разрисованы деревьями на манер сада. Солнце в упор палило сюда своими лучами, но капитан и его товарищ, по-видимому, не замечали нестерпимого жара и порядком-таки урезали, о чем красноречиво свидетельствовал графин с водкой, опорожненный почти до самого дна.

Да, это был он, свидетель дней моей юности, отставной капитан Никифор Петрович Терпибедов. Но как он постарел, полинял и износился! как мало он походил на того деятельного куроцапа, каким я его знал в дни моего счастливого, резвого детства! Боже! как все это было давно, давно!

Наружность Терпибедова очень оригинальная. Это человек лет шестидесяти с лишком, необыкновенно длинный и весьма узкий в кости. На этом длинном туловище посажена непропорционально маленькая головка, почти лишенная подбородка, с крошечным остатком волос на висках и затылке, с заостренным носом, как у кобчика, с воспаленными глазами навывкате и с совершенно покатым лбом. Из внутренностей его, словно из пустого пространства, без всяких с его стороны усилий, вылетает громкий, словно лающий голос, — особенность, которая, я помню, еще в детстве поражала меня, потому что при первом взгляде на его сухопарую, словно колеблющуюся фигуру скорее можно было ожидать ноющего свиста иволги, нежели собачьего лая.

Одет он тоже не совсем обыкновенно. На нем светло-коричневый фрак с узенькими фалдочками старинного покроя, серые клетчатые штаны со штрипками и темно-малиновый кашемировый двубортный жилет. На шее волосяной галстух, местами сильно обившийся, из-под которого высываются туго накрахмаленные заостренные воротнички, словно стрелы, врезающиеся в его обрюзглые щеки. По всему видно, что он постепенно донашивает гардероб, накопленный в лучшие времена.

— Ба! сочинитель! — залаял он, увидав меня.

На меня вдруг пахнуло словно сыростью. Как будто распахнулись двери давно не отпиравшегося подвала, в котором без толку навален был старый, заплесневевший от времени

хлам. Я вспомнил былое, когда Терпибедов был еще, как говорится, в самой поре и служил дворянским заседателем в земском суде. Как видите, это было еще до появления становых приставов на арене внутреннеполитической деятельности (сосчитайте, сколько мне лет-то!). Он довольно часто наезжал к нам и по службе, и в качестве соседа по имению и всегда обращал на себя мое внимание в особенности тем, что домашние наши как-то уж чересчур бесцеремонно обращались с ним.

– Ну, что, куроцап, каково курчат полавливаешь? – неизменно приветствовал покойный отец мой появление капитана.

– Какие нонче курчата! – неизменно же отвечивал на это приветствие капитан, – нынешние, сударь, курчата некормленные, а ежели и есть которые покормнее, так на тех уж давно капитан-исправник петлю закинул.

Вслед за тем подавалась закуска, и начинались «шутки», на которые был так неистощим помещичий строй доброго старого времени. Похлопывали Терпибедова по животу, как бы нащупывая спрятанных там курчат, пугали его, убирали со стола его тарелку с недоеденным кушаньем, словом, проделывали на нем весь скудный репертуар домашних театральных представлений. Я даже помню, как он судился по делу о сокрытии убийства, как его дразнили за это фофаном и как он оправдывался, говоря, что «одну минуточку только не опоздай он к секретарю губернского правления – и ничего

бы этого не было».

Впоследствии Терпибедов исчез в той общей пучине, в которую кануло крепостное право. Даже фамилии его как-то никто не упоминал, хотя связь моя с родными местами не прерывалась. И вдруг оказывается, что он жив-живехонек, что каким-то образом он ухитрился ухватиться за какое-то бревнышко в то время, когда прорвало и смыло плотину крепостного права, что он притаился, претерпел либеральных мировых посредников и все-таки не погиб. Да и не только не погиб, но даже встал на страже, встал бескорыстно, памятуя и зная, что ремесло стража общественной безопасности вознаграждается у нас больше пинками, нежели кредитными рублями.

— А голос-то у вас, Никифор Петрович, прежний остался! Помните, как вы однажды тетеньку Прасковью Ивановну испугали? — сказал я, здороваясь с ним.

— Помните, сударь! не забыли! — воскликнул он, слегка дрогнув, — прежде-то, хорошее-то время... не забыли?

— Помню.

— Да-с, примерли! все примерли! Один я да вот Григорий Александрович в здешних местах из стариков остались. Стары, сударь! ветхи! Морковкина Петра Александровича, предводителя-то нашего бывшего, помните?

— А где он теперь?

— В Москве, сударь! в яме за долги года с два высидел, а теперь у нотариуса в писцах, в самых, знаете, маленьких...

десять рублей в месяц жалованья получает. Да и какое уж его писанье! и перо-то он не в чернильницу, а больше в рот себе сует. Из-за того только и держат, что предводителем был, так купцы на него смотреть ходят. Ну, иной смотрит-смотрит, а между прочим – и актец совершит.

– Скажите пожалуйста! ведь в тысячах душах был! а какой хлебосол! свой оркестр держал! певчих! три трехлетия предводителем выслужил!

– Не три, а целых пять-с!

– И теперь... писцом!

– Да-с, в конторе у нотариуса сидит... духота-то какая! да еще прочие служащие в трактир за кипятком заставляют бегать!

– Ну, а имение его?

– Имение его Пантелей Егоров, здешний хозяин, с аукциона купил. Так, за ничто подлецу досталось. Дом снес, парк вырубил, леса свел, скот выпродал... После музыкантов какой инструмент остался – и тот в здешний полк спустил. Не узнаете вы Грешнищева! Пантелей Егоров по нем словно француз прошел! Помните, какие караси в прудах были – и тех всех до одного выловил да здесь в трактире мужикам на порции скормил! Сколько деньжищ выручил – страсть!

Он свистнул, поник головой и задумался.

– Ну, а вы как, Никифор Петрович?

– Нехорошо-с. То есть так плохо, так плохо, что если начать рассказывать, так в своем роде «Тысяча и одна ночь»

выйдет. Ну, а все-таки еще ратуем.

– Служите?

– Нет, так, по своей охоте ратуем. А впрочем, и то сказать, горевые мы ратники! Вот кабы тузы-то наши козырные живы были – ну, и нам бы поповаднее было заодно с ними помериться. Да от них, вишь, только могилки остались, а нам-то, мелкоте, не очень и доверяют нынешние правители-то!

– А вам бы еще послужить, Никифор Петрович.

– Слуга покорный-с. Нынче, сударь, все молодежь пошла. Химии да физики в ходу, а мы ведь без химий век прожили, а наипаче на божью милость надеялись. Не годимся-с. Такое уж нонче время настало, что в церкву не ходят, а больше, с позволения сказать, в удобрение веруют.

– Не через край ли вы хватили, Никифор Петрович?

– Нет-с, до краев еще далеко будет. Везде нынче этот разврат пошел, даже духовные – и те неверующие какие-то сделались. Этта, доложу вам, затесался у нас в земские гласные поп один, так и тот намеднись при всей публике так и ляпнул: цифру мне подайте! цифру! ни во что, кроме цифры, не поверю! Это духовное-то лицо!

– Это действительно-с. Отец Спиридоний Благосклонов, села Бекетова иерей. Верст десять отсюда будет.

Слова эти произнес приехавший с Терпибедовым священник. Это был человек уже пожилой, небольшого роста, тучный, с большою и почти совсем лысою головой, которую он держал несколько закинув назад. Характеристическим отли-

чием его плоского лица представлялись широкие, пещеристые ноздри, которые, так сказать, и определяли всю его физиономию. Все прочее утопало в каком-то рыжевато-белесоватом колорите. Маленькие, полупотухшие глаза неподвижно смотрели сквозь очки и казались невидящими; тонкие, выцветшие губы едва раскрывались даже в то время, когда он говорил. Редкие светло-рыжие волосы на голове висели в беспорядке; на бороде и усах почти совсем волос не было. Говорил он солидно и приятным басом, но в голосе звучала резкая подыскивающая нотка, от которой становилось неловко. Вообще это было какое-то загадочное существо, которого вид вселял опасение. Даже Терпибедов, при всем сознании своей несомненной благонамеренности, побаивался его и, по-видимому, находился под сильным его влиянием, что не мешало ему, однако ж, шутить над своим ментором довольно смелые шутки. Несмотря на жаркое июньское время, на священнике была черная суконная ряса, сильно порывевшая и запыленная.

– Рекомендую! – представил его нам Терпибедов, – отец Арсений, бывший священник нашего прихода, а ныне запрещенный поп-с. По наветам, а больше за кляузы-с. До двадцати приходов в свою жизнь переменил, нигде не ужился, а теперь и вовсе скапутился!

При этой неожиданной аттестации отец Арсений молча вскинул своими незрячими глазами в сторону Терпибедова. Под влиянием этого взора расходившийся капитан вдруг

съежился и засуетился. Он схватил со стола дорожный чубук, вынул из кармана засаленный кисет и начал торопливо набивать трубку.

– Извольте же продолжать, Никифор Петрович! – солидно протянул отец Арсений. – Вы сказали «за кляузы»... извольте же объяснить, какого рода и по какому случаю эта называемая вами кляуза начало свое получила?

– Нет уж, слуга покорный! ты и на меня еще кляузу напишешь! – попробовал отшутиться Терпибедов. – Вот, сударь! – переменяя разговор, обратился он ко мне, – нынче и трубку уж сам закуриваю! а *прежде* стал ли бы я! Прощка! венХ-зиси! – и трубка в зубах!

– Действительно, прежде не малое было поощрение лени и тунеядству! – уязвил отец Арсений.

– Да, сударь, было-с, было наше времечко! – продолжал Терпибедов, словно не слыша поповского замечания. – Так вот и вы родное гнездо посетить собрались? Дельно-с. Леску малую толику спустить-с, насчет пустошей распорядиться-с... пользительно-с!

– Скажите, капитан, ведь и у вас тут, кажется, неподалеку усадьба была?

– Как же-с, как же-с! И посейчас есть-с. Только прежде я ее Монрепо прозывал, а нынче Монсуфрансом зову. Нельзя, сударь. Потому во всех комнатах течь! В прошлую весну все дожди на своих боках принял, а вот он, иерей-то, называет это благорастворением воздушных!

– Это действительно, – пояснял отец Арсений. – Весна у нас нынче для произрастания злаков весьма благоприятная была. Капуста, огурцы – даже сейчас во всем блеске. Но у кого крыша в неисправности, тот, конечно, не мало огорченный претерпел.

– Да-с, претерпел-таки. Уж давно думаю я это самое Монрепо побоку – да никому, вишь, не требуется. Пантелею Егорову предлагал: «Купи, говорю! тебе, говорю, все одно, чью кровь ни сосать!» Так нет, и ему не нужно! «В твоём, говорит, Монрепо не людям, а лягушкам жить!» Вот, сударь, как нынче бывшие холопы-то с господами со своими поговаривают!

Он усиленно потянул дым, и мне показалось, что внутри у него словно что зарычало.

– Так-то вот мы и живем, – продолжал он. – Это бывшие слуги-то! Главная причина: никак забыть не можем. Кабы-ежели бог нам забвение послал, все бы, кажется, лучше было. Сломал бы хоромы-то, выстроил бы избу рублей в двести, надел бы зипун, трубку бы тютюном набил... царствуй! Так нет, все хочется, как получше. И зальце чтоб было, кабинетец там, что ли, «мадам! перметте бонжур!», «человек! рюмку водки и закусить!» Вот что конфузит-то нас! А то как бы не жить! Житье – первый сорт!

– И то еще ладно, капитан, что вы хорошее расположение духа не утратили! – усмехнулся я.

– Помилуйте! с ними театров не надобно-с! никогда не

соскучитесь! – прибавил отец Арсений. – Только вот на язык невоздержны маленько.

– Да-с, будешь и театры представлять, как в зной-то па-лит, а в дождь поливает! Смиряемся-с. Терпим и молчим. В терпении хотим стяжать души наши... так, что ли, батя?

– При ветхости крыши и это утешением послужить может!

– Одним словом, прежде лучше жилось – так, что ли, капитан? – поддразнил Колотов.

– Прежде! прежде-то! прежде-с!

Терпибедов словно прогремел эту фразу и даже поперхнулся от волнения.

– Прежде, я вам доложу, настоящих-то слуг ценили-с! – продолжал он, захлебываясь на каждом слове, – а нынче настоящих-то слуг...

Он вдруг оборвал, словно чуя, что незрячий взор отца Арсения покоится на нем. И действительно, взор этот как бы говорил: «Продолжай! добалтывайся! твои будут речи, мои – перо и бумага». Поэтому очень кстати появился в эту минуту чайный прибор.

– А какую я вам, Сергей Иванович, рыбку припас, – обратился Терпибедов к Колотову, – уж если эта рыбка невкусна покажется, так хоть всю речную муть перешарьте – пустое дело будет.

– Осётрик во всех статьяx-с, – мягко, даже почти благо-склонно пояснил отец Арсений, дуя в блюдечко и прищелкивая зубами сахар.

– Знаю; вы писали, капитан. Господин Парначев, кажется?

– То есть писал собственно я-с, а они токмо подписом своим утвердить пожелали, – заметил отец Арсений.

– Парначев! не Павла ли Николаича сын? да ведь он тут в земстве, кажется? – вспомнил я.

– Он самый-с. В земстве-с, да-с. Шайку себе подобрал... разночинцев разных... все места им роздал, – ну, и держит уезд в осаде. Скоро дождемся, что по большим дорогам разбойничать будут. Артели, банки, каммуны... Это дворянин-с! Дворянин, сударь, а какими делами занимается! Да вот батюшка лучше меня распишет!

– Действительно, могу свидетельствовать. Много неповинных душ Валериан Павлыч совратил, даже всю округу, можно сказать, своим тлетворным дыханием заразил, – сентенциозно подтвердил отец Арсений.

– И добро бы из долгогривых – все бы не так обидно! А то ведь дворянин-с!

– Однако, вы довольно-таки несносно об нашем сословии выражаетесь, Никифор Петрович! – обиделся отец Арсений. – Прошу, оставьте!

– Ну, батя, не взыщи! Долгогривые – они ведь... примеры-то эти были!

– Чувствительнейше вас прошу! оставьте-с!

– Позвольте, господа! не в том совсем вопрос! Что же собственно делает господин Парначев, что могло в такой степени возбудить ваше негодование? Объясните сначала вы, ка-

питан!

– Всё делает. Каммуны делает, протолериат проповедует, прокламацию распускает... всё, словом сказать, весь яд!

– Главнейше же – путям провидения не покоряется, – пояснил отец Арсений, – дождь, например, не от бога, а от облаков... да облака-то откуда?

– А вы, батюшка, имели разговор с господином Парначевым об этом предмете?

– Прямого разговору, собственно, с ними не было, а от крестьян довольно-таки наслышан. У здешних крестьян, позвольте вам доложить, издавна такой обычай: ненастье ли продолжительное, засуха ли – лекарство у них на этот счет одно: молебствие. И всегда они соглашались на это с готовностью, нынче же строптивость выказали. Прошлую весну совсем было здесь нас залило, ну, я, признаться, сам даже предложил: «Не помолебствовать ли, друзья?» А они в ответ: «Дождь-то ведь от облаков; облака, что ли, ты заговаривать станешь?» От кого, смею спросить, они столь неистовыми мыслями заимствоваться могли?

Я слушал этот обвинительный акт, и, признаюсь откровенно, слушал не без страха. Я спрашивал себя не о том, какие последствия для Парначева может иметь эта галиматья, – для меня было вполне ясно, что о последствиях тут не может быть и речи, – но в том, можно ли жить в подобной обстановке, среди столь необыкновенных разговоров? Ведь пошлость не всегда ограничивается одним тем, что оскорбляет здра-

вый человеческий смысл; в большинстве случаев она вызывает, кроме того, и очень резкие поползновения к прозелитизму. Не она покоряется убеждениям разума, но требует, чтоб разум покорился ее убеждениям. Столкновение происходит не вдруг, но что оно несомненно придет – в этом служит ручательством тот громадный запас досужества, который всегда находится в распоряжении пошлости. Подумайте, сколько варварского трагизма скрыто в этой предстоящей коллизии!

На стороне пошлости – привычка, боязнь неизвестности, отсутствие знания, недостаток отваги. Все, что отдает человека в жертву темным силам, все это предлагает ей союз свой. Заручившись этими пособниками и имея наготове свой собственный жизненный кодекс, она до такой степени насыщает атмосферу его миазмами, что вдыхание этих последних становится обязательным. Всякое явление она обозначает своими приметами, всякому факту находится готовое полуэмпирическое, полумистическое толкование. Как сложились эти приметы и толкования – этого она, конечно, не объяснит, да ей и не нужно объяснений, ибо необъяснимость не только не подрывает ее кодекса, но даже еще больше удостоверяет в его непреложности. И ежели она встречает отказ или сомнение, то это нисколько не заставляет ее вдуматься в свои требования, но только возбуждает удивление. От удивления она переходит к назойливости, от назойливости к застрашиванию. Досуг дает ей чудовищные средства в

смысле прозелитизма; всегда праздная, всегда суестьющаяся, она неумоимо кружит около сомневающегося и постепенно стягивает, суживает свои круги. И вот наступает момент, когда она приступает уже действительно и, не стесняясь формальностями, прямо объявляет свою сентенцию. Вы не верите приметам – вы безбожник, вы не раболепствуете – вы насадитель революционных идей, возмутитель, ниспровергатель авторитетов; вы относитесь критически к известным общественным явлениям – вы развратник, ищущий разрушить общественные основы...

Спрашиваю вновь: как жить и не погибнуть в подобной обстановке, среди вечного жужжания глупых речей, не имея ничего перед глазами, кроме зрелища глупых дел?

– И вы можете доказать, что господин Парначев все то делал, что вы о нем сейчас рассказали? – обратился, между тем, Колотов к Терпибедову.

– Каких доказательств! всей округе известно!

– Знаете ли, однако ж, что это до того любопытно, что мне хотелось бы, чтобы вы кой-что разъяснили. Что значит, например, выражение «распространять протолериат»? или другое: «распущать прокламацию»?

– Извините, Сергей Иванович, я вредным идеям не обучался-с. В университетах не бывал-с. Знаю, что вредные, и больше мне ничего не требуется! да-с!

– Все-таки не мешает хоть понимать, в чем заключается вред.

– Говорю вам, вся округа подтвердит. Первый – здешний хозяин. И опять еще – батюшка: какого еще лучше свидетеля! Духовное лицо!

– Могу свидетельствовать, и не токмо сам, но и других достоверных свидетелей представить могу. Хоша бы из тех же совращенных господином Парначевым крестьян. Потому, мужик хотя и охотно склоняет свой слух к зловерным учениям и превратным толкованиям, однако он и не без раскаяния. Особливо ежели видит, что начальство требует от него чистосердечного сознания.

– Прекрасно; расскажите же сначала, что вы лично имеете свидетельствовать о господине Парначеве?

Отец Арсений задумался и с минуту пощипывал редкие, чуть заметные волоски своей бороды.

– Не бесполезно ли будет? – наконец выговорил он, смотря через очки на Колотова.

– Отчего?

– Да видится мне, что слова-то наши как будто не внушают вам большого доверия...

– Гм... значит, и я уж сделался в ваших глазах подозрительным... Скоренько! Нет, коли так, то рассказывайте. Поймите, что ведь до сих пор вы ничего еще не сказали, кроме того, что дождь – от облаков.

– А этого мало-с?

– Не много-с. Рассказывайте, прошу вас.

– Даже с превеликим моим удовольствием-с. Был и со

мною лично случай; был-с. Прихожу я, например, прошлую осенью, к господину Парначеву, как к духовному моему сыну; в дом...

– Так господин Парначев и на духу у вас бывает?

– Бывал-с. Только, по замечанию моему, с их стороны это больше одно притворство было...

– Вы это верно знаете?

– Перстов своих в душевные раны господина Парначева не вкладывал, но судя по прочим поступкам...

– А о прочих поступках судя по этому... впрочем, продолжайте.

– Следственно, прихожу я к ним вроде как бы для беседы, а сам, между прочим, в голове свой особый предмет держу. И вижу я, значит, что в прихожей у них никого нет, а между тем из кабинета, рядом с прихожей, слышится говор. Встал я этак около двери, будто ноги вытираю, а сам, между прочим, прислушиваюсь. И слышу я эти самые слова: протолериат, эмансипация, бюрократия, плутократия... А затем и насчет сыроварения. Один голос говорит: «Вы, говорит, в недоимки по уши влезли; устройвайте артели, варите сыры – и недоимкам вашим конец». Другой голос отвечает: «Хорошо бы это, только как же тут быть! теперича у нас молоко-то робята хлебают, а тогда оно, значит, на недоимки пойдет?..» И опять первый голос говорит: «Варите сыры, потому что вам, как ни вертись, двух зайцев не поймать: либо детей молоком кормить, либо недоимки очищать». А другой голос отвечает:

«По-моему, пусть лучше дети хлебают». — «А по-моему, — это опять первый голос, — лучше недоимки очищать, потому что своевременная уплата повинностей есть первый признак человека, созревшего для свободы». Хорошо-с. Только что, значит, он это слово «свобода» выговорил, ан, как на грех, подо мной половица и скрипнула. Сейчас это Валериан Павлыч потихоньку-потихоньку, на цыпочках, на цыпочках — и прямо к двери. И так это у них скоро сделалось, что я даже потрафить не успел. Словом сказать, так меня пристигли, что я даже совсем без слов сделался. Стою, это, в дверях и вижу только одно: что у них сидит наш крестьянин Лука Прохоров, по замечанию моему, самый то есть злейший бунтовщик. «Вы, — говорит мне господин Парначев, — коли к кому в гости приходите, так прямо идите, а не подслушивайте!» А Лука Прохоров сейчас же за шапку и так-таки прямо и говорит: «Мы, говорит, Валериан Павлыч, об этом предмете в другое время побеседуем, а теперь между нами лишнее бревнышко есть». Однако я сделал вид, как будто не обратил внимания, и вошел. Сели мы с Валерианой Павлычем друг против друга, и вижу я, что он сидит у письменного стола, на кресле покачивается, смотрит на меня и молчит. Довольно долго он эту комедию продолжал, однако и я помаленьку с своей стороны оправился: сначала легонько, потом побольше, а наконец, и прямо ему в лицо взглянул. И пришло мне в эту минуту откровение: «Дай, думаю, я ему нравоучение сделаю! Может быть, он раскается!» И стал я ему говорить:

«Не для забавы, Валериан Павлыч, и не для празднословия пришел я к вам, а по душевному делу!» – «Слушаю-с», говорит. – «Грех, говорю, великий грех вы соделываете!» – «Любопытно», говорит. – «Любопытного, говорю, в грехе мало, а слез достойного много!» – «Забавно!» – «Нынче забавно, говорю, а завтра и горько показаться может! Спрошу вас: зачем вы малых сих в соблазн вводите?!» Тут уж он, знаете, и смеяться перестал. – «А вы, говорит, уверены в этом?» – «Не только, говорю, уверен, но даже достоверных свидетелей представить могу». – «Так извольте, говорит, сейчас из моего дома вон! Я, говорит, к вам не хожу и вас к себе подслушивать не прошу!»

– Каков гусь! это с духовным-то лицом так поговаривает! – прервал Терпибедов, – а вы еще доказательств требуете!

– Как выгнали, это, они меня, иду я к себе домой и думаю: за что он меня обидел! Я к нему с утешением, а он мне на это: «Пошел вон!» Иду, это, и вижу: на улице мальчишки играют. И только, значит, завидели меня, как все разом закричали: «Поп! поп! выпусти собаку!»¹⁰ Подошел я к одному: «Друг мой! кто тебя этому научил?» – «Новый учитель», говорит. К другому: «Тебя кто научил?» – «Новый учитель», говорит. – «Нехорошо, говорю, дети! Когда я у вас в школе учителем был, то вы подобных неистовых слов не говаривали!...» А но-

¹⁰ Детская крестьянская игра. Берут полевой цветок и ждут, пока из чашечки его выползет букашка; в ожидании кричат: «Поп! поп! выпусти собаку!» (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина)

вого-то учителя, только за две недели перед тем, господин Парначев из губернии вывез. В столь короткое время – и уж столь быстрые успехи ученики сделали!

– Так вы прежде учителем в школе были?

– Был-с, и прошедшею осенью, по проискам господина Парначева, сменен-с.

– За что ж вас сменили?

– А за то, собственно, и сменили, что, по словам господина Парначева, я крестьянских мальчиков естеству вещей не обучал, а обучал якобы пустякам. У меня и засвидетельствованная копия с их доношения земскому собранию, на всякий случай, взята. Коли угодно...

– Гм!.. да! возвратимся прежде к вашему случаю. Из рассказа вашего я понял, что вы не совсем осторожно слушали у дверей, и господину Парначеву это не понравилось. В чем же тут, собственно, злоумышление?

– Позволю себе спросить вас: ежели бы теперича они не злоумышляли, зачем же им было бы опасаться, что их подслушают? Теперича, к примеру, если вы, или я, или господин капитан... сидим мы, значит, разговариваем... И как у нас злых помышлений нет, то неужели мы станем опасаться, что нас подслушают! Да милости просим! Сердце у нас чистое, помыслов нет – хоть до завтра слушайте!

– Да, но, с точки зрения общественной безопасности, этого факта все-таки недостаточно. Повторяю: из рассказа вашего я вижу только одно, что вы подслушивали...

– Не подслушивал, а как бы сказать – хотел достойные примечания вещи усмотреть.

– Ну, да, подслушивали. Вот это самое подслушиванием и называется. Ведь вы же сами сейчас сказали, что даже не успели «потрафить», как господин Парначев отворил дверь? Стало быть...

– А по моему мнению, это не только не к оправданию, но даже к отягчению их участи должно послужить. Потому, позвольте вас спросить: зачем с их стороны поспешность такая вдруг потребовалась? И зачем, кабы они ничего не опасались, им было на цыпочках идти? Не явствует ли...

– А я полагаю, что это затем было сделано, чтоб вы вперед подслушивали умеючи. А вы вот подслушиваете, да ничего не слышите!

– Извините меня! Довольно неистовых слов слышал: свобода, эмансипация, протолериат!.. И, опять-таки, случай с ребятишками... не достаточно ли из одного явствуется...

– Слушайте-ка! ведь вы сами отлично знаете, что это детская игра?

– Но почему же они предприняли именно ее, а не другую какую игру, и предприняли именно в такой момент, когда меня завидели? Позвольте спросить-с?

– Об этом вы бы у них спросили!

– Стало быть, по мнению вашему, все это – дело возможное и ненаказуемое? Стало быть, и аттестация, что я детей естеству вещей не обучал, – и это дело допустимое?

– Ежели вы находили эту аттестацию для себя обидною, то вам следовало ее той инстанции обжаловать, от которой зависит определение сельских учителей.

– Позвольте мне сказать! Имею ли же я, наконец, основание законные свои права отыскивать или должен молчать? Я вашему высокородию объясняю, а вы мне изволите на какую-то инстанцию указывать! Я вам объясняю, а не инстанции-с! Ведь они всего меня лишили: сперва учительского звания, а теперь, можно сказать, и собственного моего звания...

– Ну, это что-то уж мудрено!

– Напротив того, даже очень легко-с. Позвольте мне объяснить. После того случая, о котором я имел честь вам сообщить, поселилась между нами заметная холодность, а с ихней стороны, можно сказать, даже ненависть. Я доношение – и они доношение; я в губернию – и они в губернию. Что они там говорили, какие оправдания против моих доношений принесли – этого я не знаю. Знаю только, что наряжено было надо мною следствие, якобы над беспокойным и ябедником, а две недели тому назад пришло и запрещение. И выходит теперь, что я запрещенный поп-с! Ужели и этого в глазах начальства еще недостаточно?

Сказав последние слова, отец Арсений даже изменил своей сдержанности. Он встал со стула и обе руки простер вперед, как бы взывая к отмщению. Мы все смолкли. Колотов пощипывал бородку и барабанил по столу; Терпибедов угрю-

мо сосал чубук; я тоже чувствовал, что любопытство мое удовлетворено вполне и что не мешало бы куда-нибудь улизнуть. Наконец капитан первый нарушил тишину.

– Стало быть, теперича нужно дневного разбоя... тогда только начальство внимание обратит? – сказал он, не обращаясь ни к кому в особенности.

– Да чего-нибудь в этом роде, – пошутил Колотов.

– Чтобы нас, значит, грабить начали?

– Да, вообще... протолериат бы какой-нибудь произвели.

Я невольно усмехнулся.

– Смеется... писатель! Смейтесь, батюшка, смейтесь! И так нам никуда носу показать нельзя! Намеднись выхожу я в свой палисадник – смотрю, а на клумбах целое стадо Васюткиных гусей пасется. Ну, я его честь честью: позвал-с, показал-с. «Смотри, говорю, мерзавец! любуйся! ведь по-настоящему в остроге сгноить за это тебя мало!» И что ж бы, выдумали, он мне на это ответил? «От мерзавца слышу-с!» Это Васютка-то так поговаривает! ась? от кого, позвольте узнать, идеи-то эти к ним лопали?

– Вы бы у Васютки и спросили, кто, мол, тебя выучил на «мерзавца» «мерзавцем» отвечать?

– Стало быть, господину Парначеву так-таки ничего и не будет?

– Не знаю; до сих пор ничего замечательного не вижу... Понял я из ваших слов одно: что господин Парначев пропагандирует своевременную уплату недоимок – так ведь это не

возбраниется!

– Не понравился, батя! не понравился наш осётрик господину молодому исправнику! Что ж, и прекрасно! Очень даже это хорошо-с! Пускай Васютки мерзавцами нас зовут! пускай своих гусей в наших палисадниках пасут! Теперь я знаю-с. Ужо как домой приеду – сейчас двери настезь и всех хамов созову. Пасите, скажу, подлецы! хоть в зале у меня гусей пасите! Жгите, рубите, рвите! Исправник, скажу, разрешил!

– Гм!.. Это недурно! только ведь вы, пожалуй, не скажете, капитан?

– Ну, вот вам крест! провалиться мне на сем месте, ежели не скажу!

– Скажите, скажите! я не обижусь. Ну-с, конференция, стало быть, кончена; о господине Парначеве вы никаких больше сведений сообщить не имеете?

– По замечанию моему, хозяин здешний словно бы изъявлял готовность свидетельствовать! – отозвался отец Арсений, – впрочем, думаю, что вряд ли и его свидетельство во внимание примется.

– Нет, отчего ж! пускай свидетельствует! Только я должен вас предупредить, что мне известны некоторые эпизоды из жизни здешнего хозяина...

– Эпизодов, ваше высокоблагородие, в жизни каждого человека довольно бывает-с! а у другого, может быть, и больше их... Говорить только не хочется, а ежели бы, значит, биографию каждого из здешних помещиков начертать – не мно-

гим бы по вкусу пришлось!

– Какие же это эпизоды про здешнего хозяина? – любопытствовал я у отца Арсения.

– Пустое дело-с. Молва одна. Сказывают, это, будто он у здешнего купца Мосягина жену соблазнил и вместе будто бы они в ту пору дурманом его опоили и капиталом его завладели... Судбище у них тут большое по этому случаю было, с полгода места продолжалось.

– Мосягин? Этот не яичник ли? – вспомнилось мне.

– Он самый-с. Яйца по окрестности скупал и в Петербург отправлял.

– Жив он?

– И посейчас здесь живет. И прелюбодейственная жена с ним. Только не при капиталах находятся, а кое-чем пропитываются. А Пантелей Егорыч, между прочего, свое собственное заведение открыл.

– И какое еще заведение-то! В Москве не стыдно! за одну машину восемьсот заплатил! – вставил Терпибедов.

– Мужик умный. А в настоящее время даже и христианин-с.

– Ну, батя! что христианин-то он – это еще бабушка надвое сказала! Умница – это так! Из шельмов шельма – это я и при нем скажу! – отрекомендовал Терпибедов.

– Позвольте, батюшка! – вновь начал я, – вот вы сейчас сказали, что Мосягин и теперь здесь живет? Что ж он, так-таки просто и живет?

– А что же ему больше делать, сударь?

– Да ведь вы говорите, что Пантелей Егоров жену у него соблазнил, капитал отнял...

– То есть, как бы вам сказать! Кто говорит: отнял, а кто говорит: Мосягин сам оплошал. Прогорел, значит. А главная причина, Пантелей Егоров теперича очень большое засилие взял – ну, Мосягину против его веры и нету.

– Тем, стало быть, и кончено?

– По здешнему месту эти концы очень часто, сударь, бывают. Смотришь, это, на человека: растет, кажется... ну, так растет! так растет! Шире да выше, краше да лучше, и конца-краю, по видимостям, деньгам у него нет. И вдруг, это, – прогорит. Словно даже свечка, в одну минуту истает. Либо сам запьет, либо жена сбесится... разумеется, больше от собственной глупости. И пойдет, это, книзу, да книзу, уже да хуже...

– И дельно! потому – дурак! Учить дураков надо! – выпалил Терпибедов.

– По здешнему месту насчет дураков даже очень строго. Вроде как даже имением своим владеть недостойными почитаются... Сейчас, это, или сам от своей глупости прогорит, или унесет у него кто-нибудь...

– Дурак – это по-здешнему значит: выморочный человек, – пояснил Колотов.

– Так прикажете позвать Пантелея Егорыча?

– Позовите! позовите! пускай свидетельствует!



На оклик Терпибедова вошел человек, составлявший совершенную противоположность с запрещенным попом. Несколько отец Арсений был солиден и сдержан в своих движениях, настолько же Пантелей Егоров был юрок и быстр. Несмотря на несколько лет благополучного хозяйничанья, он все еще резко напоминал собой бойкого полового, хотя, впрочем, уже свысока относился к этой незавидной должности и изо всех сил старался подражать «настоящим хозяевам». Это был малый лет тридцати, с круглым, чистым и румяным лицом, курчавою головою, небольшою светло-русою бородкой и маленькими, беспокойно высматривающими глазками. Одет он был в полурусский-полунемецкий костюм, состоявший из двубортного застегнутого сюртука, жилета и брюк, запущенных в длинные, до колен, сапоги. Вся фигура его была в непрестанном движении: голова поминутно встряхивалась, глаза бегали, ноздри раздувались, плечи вздрагивали, руки то закидывались за спину, то закладывались за борты сюртука. Да и сам он беспрестанно то садился на стул, то опрометью вскакивал с него, как бы вследствие давления какой-то скрытой пружины. Вообще, с первого же взгляда можно было заключить, что это человек, устраивающий свою карьеру и считающий себя еще далеко не в конце ее, хотя, с другой стороны, заметное развитие брюшной по-

лости уже свидетельствовало о рождающейся наклонности к сибаритству. Как видно, он ожидал, что его позовут на вышку, потому что, следом за ним, в нашу комнату вошло двое половых с подносами, из которых на одном стояли графины с водкой, а на другом – тарелки с закуской.

– Для первого знакомства, позвольте просить! Ваше высочорodie! – обратился он к Колотову, указывая рукой на подносы.

– Благодарю вас, я потом обедать спрошу. Вот капитан, вероятно, не откажется. Садитесь, пожалуйста.

– Постоим-с.

Он действительно минуты две постоял, потом как-то боком придвинул стул и боком же сел на него. Но вслед за тем опять вскочил, словно его обожгло. Терпибедов и отец Арсений тыкали между тем вилками в кусочки колбасы и икры и проглатывали рюмку за рюмкой.

– Вы знаете господина Парначева? – спросил Колотов хозяина.

Пантелей Егоров вдруг встрепенулся.

– Позвольте вам доложить! – зачастил он, становясь невытяжку, словно у допроса, и складывая назади руки. – Не токма что знаем, а даже очень хорошо, можно сказать, понимаем их!

– Что же вы понимаете?

– А так мы их понимаем, как есть они по всей здешней округе самый вредный господин-с. Теперича, ежели взять их

да еще господина Анпетова, так это именно можно сказать: два сапога – пара-с!

– Это тот Анпетов, который сам пашет?

– Они самые-с. Позвольте вам доложить! скажем теперича хошь про себя-с. Довольно я низкого звания человек, однако при всем том так себя понимаю, что, кажется, тыщ бы не взял, чтобы, значит, на одной линии с мужиком идти! Помилуйте! одной, с позволения сказать, вони... И боже ты мой! Ну, а они – они ничего-с! для них это, значит, заместо как у благородных господ амбре.

– Ну-с, господин Анпетов пашет, а господин Парначев что делает?

– Они не пахут – это действительно-с. Только, осмелюсь вам доложить, большая от них смута промежду черняди идет-с! Такая смута! такая смута! И ежели теперича, примерно, хоть между крестьян... или даже между господ помещиков, которые из молодых-с... маленечко, значит, позамялось, – так это именно их, господина Парначева, дело-с.

– Что же собственно позамялось-то?

– Всё-с, ваше высокородие! Словом сказать, всё-с. Хоша бы, например, артели, кассы... когда ж это видано? Прежде, всякий, ваше высокородие, при своем деле состоял-с: господин на службе был, купец торговал, крестьянин, значит, на господина работал-с... А нынче, можно сказать, с этими кассами да с училищами, да с артелями вся чернядь в гору пошла!

– Но почему же вы думаете, что это от Парначева идет?

– Помилуйте! позвольте вам доложить! как же нам-то не знать! Всей округе довольно известно. Конечно, они себя берегут и даже, как бы сказать, не всякому об себе высказывают; однако и из прочих их поступков очень достаточно это видно.

– Вот это прекрасно, что вы об поступках упомянули. Можете назвать хоть один?

– Помилуйте! даже очень могу-с. Теперича, возьмем к примеру хошь такой случай. Приезжают они на днях в наше селение... насчет школы, значит. Собрали, это, сход, сами к нему вышли и зачали с стариками говорить: «Селение, говорят, у вас обширное, кабаков несть числа, а школы нет. И как вы люди темные, то от этого самого, значит, все вас обижают. Купцы обсчитывают и обмеривают, чиновники – притесняют. И нигде вы себе прав не можете найти, потому, ежели даже в суд вы жаловаться пойдете, так и там своего дела порядком рассказать не можете. И все будто бы потому, что школы нет. А будет школа, и пойдет, это, значит, везде свет. Не вы, мол, так дети у вас ученые будут и всякое себе удовлетворение сделать будут в состоянии. И никто их не обидит, потому что у ученого человека против всякой обиды средство есть!» Хорошо-с. Говорят, это, они, а я между народом стою и слушаю-с. И все мне думается: что-то как будто они неловко говорят! Чиновники, мол, обижают, а ведь чиновники-то – слуги царские, как же, мол, это так! Опять и это: «Всякий

будто человек может сам себе удовлетворение сделать» – где же это видано! в каких бессудных землях-с! «Ах! думаю, да-леконько вы, Валериан Павлыч, камешок-то забрасываете, да как бы самим потом вытаскивать его не пришлось!» И сейчас же мне, сударь, после того мысль вошла. Покуда он с ними разговаривал, а я бегом-бегом, да в трактир: «Постой, думаю, устрою я тебе сюрприз!» Пришел в трактир-с, встал за стойку и жду, как они, наговорившись, придут чай пить. И действительно-с, через полчаса времени, как только они на крыльцо, а я сейчас, значит, к машине: *Коль славен...* это, значит, в Сионе-с! И что ж бы вы думали! хошь бы он бровью пошевелинул! Посетители сидят, чай пьют, все, можно сказать, в умилении, а он как вошел в фуражке, так и шмыгнул наверх-с! Ну, и точно-с. Посмотрел я тогда на них, да только вслед головой строгонько покачал. Даже многие посетители в то время это заметили. И так это мне обидно сделалось, глядя на ихнее невежество, что, кажется, деньги эти самые, которые они мне за чай потом заплатили... кажется, скорее за окно бы их вышвырнул, нечем таких посетителей у себя принимать!

– Ну, брат, деньги-то ты за окно не бросишь, хоть бы они от самого антихриста были! – по своему обыкновению, сюрпризом вставил Терпибедов.

Отца Арсения передернуло; Пантелей Егоров побледнел.

– Мелко вы, сударь, плаваете, – сказал он, блистая глазами на Терпибедова, – вот что скажу вам, Никифор Петрович!

– Позвольте! оставим, капитан, эпизоды! – вступился Колотов, – и будем заниматься предметом нашей конференции. Итак, вы говорите, что господин Парначев этим поступком сильно вас оскорбил?

– Так оскорбил! так оскорбил-с, даже душа во мне вся перевернулась! как перед истинным-с! Помилуйте! тут публика... чай кушают... в умилении-с... а они в фуражке! Все, можно сказать, так и ахнули!

– И вы полагаете, что со стороны господина Парначева тут был умысел?

– Позвольте вам доложить! как же возможно, чтобы без умысла! Тут, значит, публика... чай кушают... в умилении... а они в фуражке!

– Поймите меня, тут все дело в том, был ли умысел или нет? Беретесь ли вы доказать, что умысел был?

– Помилуйте! зачем же-с? И как же возможно это доказать? Это дело душевное-с! Я, значит, что видел, то и докладываю! Видел, к примеру, что тут публика... в умилении-с... а они в фуражке!

– Зачем же вы тогда прямо не заметили господину Парначеву, что он поступает оскорбительно для вас и ваших гостей! Может быть, дело-то и разъяснилось бы.

– Кажется, таких правил нет, чтобы мужикам господ учить! Они здесь всех учат, а не то чтобы что-с!

– Однако, ежели теперь господину Парначеву сообщить ваше показание, так ведь он, пожалуй, и в амбицию вломить-

ся может!

– Сделайте ваше одолжение! зачем же им сообщать! И без того они ко мне ненависть питают! Такую, можно сказать, мораль на меня пускают: и закладчик-то я, и монетчик-то я! Даже на каторге словно мне места нет! Два раза дело мое с господином Мосягиным поднимали! Прошлой зимой, в самое, то есть, бойкое время, рекрутский набор был, а у меня, по их проискам, два питейных заведения прикрыли! Бунтуют против меня – и кончено дело! Стало быть, ежели теперича им еще сказать – что же такое будет!

– Вот видите! вы дела завязываете, а на очную ставку статью не хотите!

– Зачем же-с! я, ваше высокородие, по простоте-с! Думал это, значит, что их только на замечание возьмут – тем, мол, дело и кончится!

– А вы полагаете, что взять человека на замечание – это ничего?

Пантелей Егоров вдруг смолк. Он нервно семенил ногами на одном месте и бросал тревожные взгляды на отца Арсения. Но запрещенный поп стоял в стороне и тыкал вилкой в пустую тарелку. На минуту в комнате воцарилось глубокое молчание.

– Стало быть, господину Парначеву так-таки ничего и не будет!! – вдруг, словно громом, раскатился Терпибедов.

ПЕРЕПИСКА

«Любезная маменька.

Месяц тому назад я уведомлял вас, что получил место товарища прокурора при здешнем окружном суде. С тех пор я произнес уже восемь обвинительных речей, и вот результат моей деятельности: два приговора *без смягчающих вину обстоятельств*; шесть приговоров, по которым содеянное преступление признано подлежащим наказанию, но с допущением смягчающих обстоятельств; оправданий – ни одного. Можете себе представить, в каком я восторге!!

Начальство заметило меня; между обвиняемыми мое имя начинает вселять спасительный страх. Я не смею еще утверждать решительно, что последствием моей деятельности будет непосредственное и быстрое уменьшение проявлений преступной воли (а как бы это было хорошо, милая маменька!), но, кажется, не ошибусь, если скажу, что года через два-три я буду призван к более высокому жребию.

Двадцати шести, двадцати семи лет я буду прокурором – это почти верно. Я имею полное основание рассчитывать на такое повышение, потому что если уже теперь начальство без содрогания поручает мне защиту государственного союза от угрожающих ему опасностей, то ясно, что в будущем меня ожидают очень и очень серьезные служебные перспективы.

Приняв во внимание все вышеизложенное, а равным об-

разом имея в виду, что казенное содержание, сопряженное с званием сенатора кассационных департаментов, есть один из прекраснейших уделов, на которые может претендовать смертный в сей земной юдоли, — я бодро гляжу в глаза будущему! Я не ропщу даже на то, что некоторые из моих товарищей по школе, сделавшись адвокатами, держат своих собственных лошадей, а некоторые, сверх того, имеют и клепиров!

Всем этим я обязан вам, милая маменька, или, лучше сказать, той безграничной пронизательности материнской любви, которая сразу умела угадать мое настоящее назначение. Вы удержали меня на краю пропасти в ту минуту, когда душа моя, по неопытности и легкомыслию, уже готова была устремиться в зияющие бездны адвокатуры!

„— Друг мой! — сказали вы мне, — в России без казенной службы прожить нельзя: непременно что-нибудь такое сделаешь, что вдруг очутишься сосланным в Сибирь, в места не столь отдаленные!“ — Святая истина!

Теперь, покуда пора увлечения еще не прошла, адвокаты спешат пользоваться дарами жизни. Они имеют лучшие экипажи, пользуются лучшими кокотками, пьют лучшие вина! Но тем печальнее будет час пробуждения... особенно для тех, которых он настигнет в не столь отдаленных местах Сибири!

Я рожден прокурором, милая маменька! Обвинение, так сказать, гнездится в крови моей!

Однажды содеянное преступление находит во мне мстителя беспощадного, неумолимого и неутомимого! Ибо что такое преступление, милая маменька?

С одной стороны, преступление есть осуществление или, лучше сказать, проявление злой человеческой воли. С другой стороны, злая воля есть тот всемогущий рычаг, который до тех пор двигает человеком, покуда не заставит его совершить что-либо в ущерб высшей идее правды и справедливости, положенной в основание пятнадцати томов Свода законов Российской империи.

Таково, милая маменька, преступление!

Но ежели правда и справедливость нарушены, то может ли закон равнодушно взглянуть на факт этого нарушения? Не вправе ли он потребовать, чтобы нарушенное было восстановлено быстро, немедленно, по горячим следам? чтобы преступление, пристигнутое, разоблаченное от всех покровов, явилось перед лицом юстиции в приличной ему нагоде и притом снабженное неизгладимым клеймом позора на мрачном челе?

Отсюда: необходимость наказания.

Наказание, милая маменька, не есть что-либо самостоятельное. Это не что иное, как естественное и неизбежное последствие самого преступления – и ничего более.

Кто мыслит „преступление“, тот, в то же время, неизбежно, так сказать фаталистически, мыслит и „наказание“!

Таков неумолимый закон логики!

Не потому должен быть наказан преступник, что этого требует безопасность общества или величие закона, но потому, что об этом вопиет сама злая воля, служащая источником содеянного преступления. Она сама настаивает на необходимости наказания, ибо в противном случае она не совершила бы *всего* естественного круга, который обязывается совершить!

Преступление, оставленное без наказания, – это недоговоренное слово, это недоконченная мысль, это недоносок, который осужден умереть при самом рождении!

Предположение это так нелепо и, можно сказать, даже чудовищно, что ни один адвокат никогда не осмелится остановиться на идее ненаказуемости, и все так называемые оправдательные речи суть не что иное, как более или менее унижительные варьяции на тему: „не пойман – не вор!“

На ком же, спросите вы, лежит обязанность восстанавливать нарушенную правду?

Священная эта обязанность лежит, во-первых, на самом законе, а во-вторых, на суде, который, однако ж, бессилен, если не подвигнут к тому инициативой прокурора.

Прокурор – это излюбленный человек закона, это око его, это преданнейший и, так сказать, всегда стоящий на страже исполнитель его велений!

Прокурор!!

Он ни на минуту не покидает величественного храма правосудия, он неустанно бодрствует и неустанно же совершает

возлияния! Это его долг, милая маменька, это провиденциальное его назначение. Без этого – прокурор немислим!!

Он закаляет законопреступную волю человеческую и, очистив ее при посредстве наказания, приносит в жертву вечной идее правды и справедливости!

И рядом с этим поразительным зрелищем вы видите жалкую, бессильную стряпню адвоката, который надеется, что под действием его тлетворного дыхания самое солнце правды утратит свою лучезарность!

Не безумная ли это надежда, милая маменька?

Засим, испрашивая вашего благословения и целуя ваши ручки, остаюсь неизменно любящий вас сын

Николай Батищев.

Р. S. Помните ли вы Ерофеева, милая маменька? того самого Ерофеева, который к нам по праздникам из школы хаживал? Теперь он адвокат, и представьте себе, какую штуку удрал! – взял да и объявил себя специалистом по части скопцов! До тех пор у него совсем дел не было, а теперь от скопцов отбою нет! На днях выиграл одно дело и получил сорок тысяч. Сорок тысяч, милая маменька!! А ведь он даже не очень умный!

* * *

„Милый дружок Николенька.

Живя несколько лет безвыездно в деревне, я так от ны-

нешних порядков отстала, что, признаюсь, не совсем даже поняла, какая такая это должность, в которой все обвинять нужно. Да, спасибо, братец Григорий Николаич растолковал. „В нынешнее время, – сказал он, – во всех образованных государствах судопроизводство устроено на манер известных *pieces a tiroir*¹¹ (помню я эти пьесы, мой друг; еще будучи в институте, в «*La fille de Dominique*»¹² игрывала). Выдвинь один ящик – обвинение; выдвинь другой ящик – оправдание". А потом: *du choc des opinions jaillit la verite*¹³ – точь-в-точь как в «*La fille de Dominique*», где, сколько я ни передевалась, а в конце пьесы все-таки объяснилось, что я – дочь Доминика, и больше ничего. Не знаю, так ли объяснил братец (он у нас привык обо всем в ироническом смысле говорить, за что и по службе успеха не имел), но ежели так, то, по-моему, это очень хорошо.

Зная твое доброе сердце, я очень понимаю, как тягостно для тебя должно быть всех обвинять; но если начальство твое желает этого, то что же делать, мой друг! – обвиняй! Неси сей крест с смирением и утешай себя тем, что в мире не одни радости, но и горести! И кто же из нас может сказать наверное, что для души нашей полезнее: первые или последние! Я, по крайней мере, еще в институте была на сей счет в недоумении, да и теперь в оном же нахожусь.

¹¹ пьес с нарочито запутанной интригой (*франц.*)

¹² «Дочь Доминика» (*франц.*)

¹³ в споре рождается истина (*франц.*)

Благородные твои чувства, в письме выраженные, очень меня утешили, а сестрица Анюта даже прослезилась, читая философические твои размышления насчет человеческой закоренелости. Сохрани этот пламень, мой друг! сохрани его навсегда. Это единственная наша отрада в жизни, где, как тебе известно, все мы странники, и ни один волос с головы нашей не упадет без воли того, который заранее все знает и определяет!

Я никогда не была озабочена насчет твоего будущего: я знаю, что ты у меня умница. Поэтому меня не только не удивило, но даже обрадовало, что ты такую твердую и верною рукой сумел начертить себе цель для предстоящих стремлений. Сохрани эту твердость, мой друг! сохрани ее навсегда! Ибо жизнь без сего светоча – все равно что утлая ладья без кормила и весла, несомая в бурную ночь по волнам океана *au gre des vents*.¹⁴

Ты пишешь, что стараешься любить своих начальников и делать им угодное. Судя по воспитанию, тобою полученному, я иного и не ожидала от тебя. Но знаешь ли, друг мой, почему начальники так дороги твоему сердцу, и почему *мы все, tous tant que nous sommes*,¹⁵ обязаны любить данное нам от бога начальство? Прошу тебя, выслушай меня.

Мы должны любить его, во-первых, потому, что начальство есть, прежде всего, друг человечества, или, как у нас в

¹⁴ по воле ветров (*франц.*)

¹⁵ все, сколько нас ни на есть (*франц.*)

институте, в одном водевиле, пели:

Il voit tout,
Il sait tout
Et il fourre son nez partout!¹⁶

А во-вторых, потому, что оно награждает любящих его и наказует противящихся ему.

Подумай об этом, друг мой, и сообразно с сим располагай своим поведением!

Поэтому, ежели начальство приказывает тебе обвинять, то значит, что это так следует. Когда же наступит время оправдывать, то, конечно, оно же без труда прикажет тебе и оправдывать.

При старости лет моих, я ко многому в жизни сделалась равнодушна, но по временам и я не могу не содрогнуться! Много, ах! слишком много злодеяний скрывается в недрах мира, сего, особливо же с тех пор, как всем сказана воля. Нигде уж нет ни почтения, ни преданности, а о потравах и о прочем – и говорить нечего. Посему теперь именно такое время настало, когда не оправдывать, а обвинять надлежит, дабы хотя этим постигшую нас волю несколько остепенить. Даже братец Григорий Николаич, который, как ты знаешь, сам этой воли желал, доколе она не пришла, – и тот теперь смирился и говорит: "je crois que le knout ferait bien

¹⁶ Оно все видит, оно все знает, оно повсюду свой нос сует! (франц.)

mieux leurs affaires!"¹⁷ Я же, с своей стороны, прибавляю: et les autres!¹⁸ Вот как бог-то ведет человека неисповедимым путем своим! Был наш Григорий Николаич волтерьянец, и Лафайет с языка у него не сходил, а теперь лежит разбитый параличом да «все упование мое на тя возлагаю» шепчет!

Да, друг мой, неисповедимы пути божии! Сколько прежде нас с сестрицей Анютой огорчал братец, столько же теперь утешает и радует. Ты знаешь, какой у него необузданный ум был, а теперь, как мужиков отняли, таким христианином сделался, что дай бог всякому. Намедни даже удивил нас. Читая мы вечером «житие», только он вдруг на одном месте остановил нас: "Сестрицы! говорит, если я, по старой привычке, скошунствую, так вы меня, Христа ради, простите!" И скошунствовал-таки, не удержался. Ну, да уж бог с ним! Хорошо и то, что хоть какие-нибудь признаки смирения в нем показались!

Знаешь ли что, друг мой! Я думаю, что это у него такая болезнь! Представь себе, сидит он наместись в своем большом кресле и четки перебирает... ну, совсем в полном виде христианин! И вдруг – что ж слышим! "А что, говорит, не объясните ли вы мне, сестрицы, чего во мне больше: малодушия или малоумия?" Мы смотрим на него во все глаза, думаем, не пароксизм ли с ним. "Да поймите же вы меня, говорит: ведь я доподлинно знаю, что ничего этого нет, а между

¹⁷ думаю, им куда лучше бы кнут! (франц.)

¹⁸ и нам также! (франц.)

тем вот сию с вами и четки перебираю!" Так это нас с сестрицей офраппировало, что мы сейчас же за отцом Федором гонца послали. И что ж! – все как рукой сняло! Такой опять христианин сделался! такой христианин! Ни рукой, ни ногой не шевельнет, только головой качает!

Какой это урок для всех нас, друг мой!

Затем, благословляя тебя на новом поприще, сердечный друг мой, и желая тебе блестящих успехов на оном, остаюсь любящая тебя мать

Надежда Батищева.

Р. S. А что ты насчет адвоката Ерофеева пишешь, будто бы со скопца сорок тысяч получил, то не завидуй ему. Сорок тысяч тогда полезны, если на оные хороший процент получать; Ерофеев же наверное сего направления своим деньгам не даст, а либо по портным да на галстуки оные рассорит, либо в кондитерской на пирожках проест. Еще смолоду он эту склонность имел и никогда утешением для своих родителей не был".

* * *

"Любезная маменька.

Спешу сообщить вам об одном весьма важном успехе, полученном мною, – успехе, который, вероятно, послужит к окончательному обеспечению моего будущего.

Третьего дня меня призвал мой генерал и сказал мне:

– На днях здесь напали на след целого скопища злоумышленников...

Я поклонился.

– Следствие по этому делу уже начато. Производят его люди, известные своею деятельностью и ловкостью, но я должен сознаться, что до сих пор никакого существенного результата не достигнуто.

Я поклонился вновь.

– Я пришел к тому убеждению, что недостаточность результатов происходит оттого, что тут употребляются совсем не те приемы. Я не знаю, что именно нужно, но бессилие старых, традиционных уловок для меня очевидно. Они без пользы ожесточают злоумышленников, между тем как нужно, чтобы дело само собой, так сказать, скользя по своей естественной покатости, пришло к неминуемому концу. Вот мой взгляд. Вы, мой друг, человек новый и современный – вы должны понять меня. Поэтому я решился поручить это дело вам.

С начальниками нужно быть очень сдержанным, милая маменька. Никогда не следует забегать им вперед, потому что это может показаться навязчивостью. Только в крайнем случае, когда уже вполне несомненно, что начальник находится в затруднении насчет предмета предстоящей беседы, можно помочь ему, бросив вскользь какую-нибудь мысль. Но и тут следует устроить так, чтобы генерал ни на минуту не усумнился, что это мысль его собственная. Вот почему

я ни слова не отвечал на обращенную ко мне речь генерала и только новым безмолвным поклоном засвидетельствовал о моей твердой готовности следовать начальственным предписаниям.

– Дело в том, – продолжал генерал, – что несколько злоумышленников образовали из себя "Общество для предвкушения гармоний будущего". По «уставу» общества – он находится в наших руках – цель его заключается "в непрерывном созерцании гармоний будущего и в терпеливом перенесении бедствий настоящего". Вы понимаете, однако, что это только казовая, так сказать, официальная цель общества, и несомненно, что у него должны быть другие, более опасные цели, которые оно, разумеется, сочло нужным скрыть. Но этих-то целей мы именно и не знаем.

Высказав это, генерал остановился, как бы приглашая меня к дальнейшим развитиям.

– Осмелюсь повергнуть на усмотрение вашего превосходительства только один почтительнейший вопрос, – начал я, – если найден «устав» общества, то, может быть, имеется в виду и список членов его?

– Да, список есть: найдена бумажка, на которой карандашом написано пятнадцать фамилий, и, что всего прискорбнее, в числе участников общества значится один уланский офицер.

– Напротив того, смею думать, что это признак очень хороший, ваше превосходительство. Участие уланского офице-

ра, если позволено так выразиться, открывает перед нами целый мир интриг. Чтобы настичь этого человека, превратные толкования должны были слишком самоуверенно и слишком далеко распространять свои корни и нити. Не будь уланского офицера, мы могли бы еще колебаться насчет важности злоумышления: теперь – мы имеем право провидеть уже целую организацию! Уланский офицер – это ключ; уланский офицер – это всё! Я спрашиваю себя: "Зачем нужен уланский офицер?" – и смело отвечаю: "Он нужен в качестве эксперта по военной части!" Я не смею утверждать, но мне кажется... и если вашему превосходительству угодно будет выслушать меня...

– Говорите, мой друг!

– Я положительно убежден, что найденный список с пятнадцатью фамилиями представляет собой силы далеко не всего общества, а лишь одного из отделов его!

Голос, которым я высказал это убеждение, звучал такою искренностью, что генерал был видимо поражен.

– Такова была и моя первоначальная мысль, – сказал он, – Но что прикажете делать! Эти старые рутинеры... они никогда не видят дальше своего носа!

– И, сверх того, я убежден, что с помощью этого ничтожного клочка бумаги, которому, по-видимому, придается такое узкое значение, можно, при некоторой ловкости, дойти до поразительнейших разветвлений и заключений! – продолжал я, увлекаясь больше и больше и даже незаметно для са-

мого себя переходя в запальчивость.

Но запальчивость эта не только не оскорбила генерала, но, напротив того, понравилась ему. На губах его скользнула ангельская улыбка. Это до такой степени тронуло меня, что и на моих глазах показались слезы. Клянусь, однако ж, что тут не было лицемерия с моей стороны, а лишь только счастливое стечение обстоятельств!

– Итак, молодой человек, в поход?! – весело сказал он, голосом и взором ободряя меня.

– Все силы... вся кровь... ваше превосходительство... – говорил я прерывающимся голосом.

– Верю!

– Я не имею слов, ваше превосходительство, но если позволено так выразиться...

– Успокойтесь, великодушный молодой человек! Увы! Мы не имеем права даже быть чувствительными! Итак, в поход! Но, прежде чем приступить к делу, скажите, не имеете ли вы сообщить мне что-нибудь насчет плана ваших действий?

– На первый раз позвольте мне просить вас об одной милости, ваше превосходительство!

– Говорите, мой друг!

– Позвольте мне называть этих людей не злоумышленниками, а заблуждающимися!

Генерал взглянул на меня изумленными глазами, но через минуту я убедился, что он понял мою мысль.

– Благородный молодой человек! – сказал он, протягивая мне руку.

– Осмелюсь высказать мою мысль вполне, – продолжал я с чувством, – не нужно обескураживать, ваше превосходительство! нужно, чтоб они всегда с полным доверием, с возможною, так сказать, искренностью... Быть может, я слишком смел, ваше превосходительство! быть может, мои скромные представления...

– Напротив! всегда будьте искренни! Что же касается до вашего великодушного желания, то я тем более ничего не имею против удовлетворения его, что в свое время, без вреда для дела, наименование «заблуждающихся» вновь можно будет заменить наименованием злоумышленников... Не правда ли?

– Точно так, ваше превосходительство!

Затем он позвонил и приказал передать мне дело о злоумышленниках, которые отныне, милая маменька, благодаря моей инициативе, будут уже называться «заблуждающимися». На прощанье генерал опять протянул мне руку.

Не знаю, как я дошел до своей квартиры. Нервы мои были так возбуждены, что я буквально целые полчаса рыдал. О, если б все подчиненные умели понимать и ценить сердца своих начальников!

И вчера, и третьего дня, обе ночи я употребил на ознакомление с делом. Генерал сказал правду: все эти «предвкусения» представляют только внешний предлог, за которым

скрываются очень важные преступные цели. Нет, господа, шалите! уж меня вы не проведете своими «предвкушениями»! Я сам человек современный и кой-что понимаю в ваших так называемых «предвкушениях»! Я с первого же абцуга почувствовал, в чем тут штука! И представьте себе, милая маменька, до сих пор *ровно* ничего не сделано для раскрытия настоящих целей «Общества»! Ничего! И за всем тем, благодаря неутомимой деятельности моих предшественников, дело уже развилось до четырех томов при пятнадцати обвиняемых. Пятнадцать обвиняемых, милая маменька, которые томятся в заключении – за что? – за то, что совместно занимались «предвкушениями»! Где же справедливость!

Теперь моя черновая работа кончена, и план будущих действий составлен. Этот план ясен и может быть выражен в двух словах: строгость и снисхождение! Прежде всего – душа преступника! Произвести в ней спасительное движение и посредством него прийти к раскрытию истины – вот цель! Затем – в поход! но не против злоумышленников, милая маменька, а против бедных, неопытных заблуждающихся! Мне кажется, что это именно тот настоящий тон, на котором можно разыграть какую угодно пьесу...

Пользуюсь минутой свободы, чтоб сообщить вам, милая маменька, об этом новом знаке доверия, которым я почтен. Затем, целуя ваши ручки и испрашивая вашего благословения, в настоящую минуту более, нежели когда-либо, для меня драгоценного, остаюсь любящий и глубоко преданный

сын ваш

Николай Батищев.

Р. S. А Ерофеев еще штуку удрал. Заманил к себе другого скопца и опять сорвал с него сорок тысяч. По-видимому, цифра сорок тысяч делается для него вроде прецедента, на который он решился сослаться в будущем, подобно тому как другие ссылаются на решения кассационных департаментов сената. Устроился он отлично; за монтировку одного кабинета заплатил пятнадцать тысяч, в приемной поставил золоченую мебель, а на полках разместил полное собрание законов. На душу клиента это производит впечатление почти неотразимое. Нет, как хотите, а Ерофеев, право, не так глуп, как до сих пор о нем думали!"

* * *

"По получении твоего письма, голубчик Николенька, сейчас же послала за отцом Федором, и все вместе соединились в теплой мольбе всевышнему о ниспослании тебе духа бодрости, а начальникам твоим долголетия и нетленных наград. И когда все это исполнилось, такое в душе моей сделалось спокойствие, как будто тихий ангел в ней пролетел!

Не ропщи, друг мой! Я знаю, что тебе не легко, но бог и начальники не оставят тебя. Немногим на долю такое счастье выпадает, какое тебе выпало. Другой весь век на одном месте сидит, и никто его не замечает: все равно, что он есть, что

его нет. А тебя среди отличных отличили – вот какое важное дело доверили! Другие хлопочут, и им не дают, ты же и не просил, а тебе дали. Неси же сей крест с смирением и верою! Помни, что все в сем мире от бога, и что мы в его руках не что иное, как орудие, которое само не знает, куда устремляется и что в сей жизни достигнуть ему предстоит.

Читала твое письмо и содрогалась: ах, какие могут быть ужасные люди, мой друг! Помню, когда нам в институте из истории уроки задавали, то там тоже злодеи описывались. Стало быть, это так свыше определено, чтоб им быть, и определено для того, чтобы, от сравнения с ними, добродетель еще больше возвышалась и заслуживала наград. А мы живем среди этих людей и даже не знаем! Ничего мы не знаем, мой друг, и если бы начальство за нас не бодрствовало – что бы мы были! И признаюсь откровенно: когда то место в письме твоём прочитала, где ты своему благодетелю предложил ужасных этих злодеев называть не злоумышленниками, а заблуждающимися, то весьма была сим офраппирована. Тем более, зная благородство твоих чувств. Но когда увидела, что все это есть не что иное, как обдуманый с твоей стороны подход и что впоследствии вновь эти люди в злоумышленников переименованы будут, опять утешилась. Знай, друг мой, что горших злоумышленников не было, нет и не будет! Отец Федор говорит, что они паче душегубцев и воров, что сии немногим зло причиняют, а они по всему миру распространяют его. Помни это, душа моя! помни и блюда юношеский

пламень твой!

Братец Григорий Николаич такой нынче истинный христианин сделался, что мы смотреть на него без слез не можем. Ни рукой, ни ногой пошевелить не может, и что говорит – не разберем. И ему мы твое письмо прочитали, думая, что, при недугах, оное его утешит, однако он, выслушав, только глаза шире обыкновенного раскрыл.

Пишу к тебе кратко, зная, что теперь тебе не до писем. Будь добр, мой друг, и впредь утешай меня, как всегда утешал. Благословляя тебя на новый труд, остаюсь любящая тебя

Надежда Батищева.

P. S. А что ты об адвокате Ерофееве пишешь, то мне даже очень прискорбно, что ты так на сем настаиваешь. Неужто же ты завидуешь сему врагу религии, который по меняльным рядам ходит и от изуродованных людей поживы ищет! Прощу тебя, друг мой, оставь сию мысль!"

* * *

"Милая маменька!

Дело, о котором я писал вам в прошлом письме, развивается так быстро, что теперь у меня, вместо пятнадцати, уже восемьдесят три человека обвиняемых. Восемьдесят три человека! Восемьдесят три жертвы пагубных заблуждений! Это ужасно!

Но какие это люди, милая маменька! сколько бы они могли принести пользы отечеству, если б не заблуждались! Какие величественные замыслы! Какие грандиозные задачи! Люди, которые, по всей справедливости, могли бы претендовать на титул благодетелей человечества, — эти люди не имеют теперь впереди ничего, кроме справедливой кары закона! И они подвергнутся ей, этой каре (в этом я могу служить вам порукою)... подвергнутся, потому что заблуждались!

Не вдруг, однако ж, удалось мне проникнуть в святилище душ их. Много пришлось выслушать дерзких выходок и очень непрозрачных намеков, но терпение и особого рода выдержка и в этих трудных обстоятельствах не оставили меня. Я восторжествовал. Мой взгляд был верен: это именно неопытные заблуждающиеся, которых молодые души прежде всего доступны чувствительности. Не чувствительность ли ввергла их и в бездну заблуждения? Не она ли причиной, что молодые их силы, не успев развернуться в пышный цвет, уже являются преждевременно обреченными на гибель? Да, это еще вопрос! и даже очень важный вопрос, милая маменька, ибо та же чувствительность, которая служит источником омерзительнейших преступлений, может подвигать человека и к деяниям высочайшей благонамеренности и преданности. Стало быть, нужно только с умением пользоваться этим двигателем, нужно только уметь направить его, одним словом, нужно внимательно пересмотреть устав пресечения и предупреждения преступлений — и

тогда все будет благополучно! Я, по крайней мере, сильно склоняюсь в пользу этого предположения, хотя, увы! и понимаю, что мое личное убеждение и бессильно ввиду предписаний закона! А закон ясен... и неумолим!

Повторяю: много стоило мне усилий, чтобы найти ключ к сердцам этих людей. Людей чувствительных, но, к несчастью, уже испорченных недоверием к лицам, которые, в сущности, искренно желают им добра. В особенности заботил меня некто Феофан Филаретов, с отличием кончивший курс в Московской духовной академии и, в качестве многообещающего юноши, названный Филаретовым в честь покойного московского митрополита. Вы знаете, как прозорлив был покойный преосвященный; но на этот раз неисповедимые пути провидения и его прозорливости готовили важное и прискорбное испытание. Преосвященный готовил Феофана для высших ступеней духовной иерархии, а вместо того, он ныне томится в заключении, из которого должен будет перейти непосредственно на скамью обвиненных! Как не подивиться столь неожиданному перевороту судеб, милая маменька!

Знакомство мое с Феофаном было очень оригинально. Это человек невысокого роста, плотный, даже коренастый, на первый взгляд угрюмый, но с необыкновенно кроткими глазами. Несомненно, он ожидал, что я относительно его буду поступать, как обыкновенно в этих случаях делается, то есть сниму формальный допрос и затем отпущу в тюрьму, сказав в заключение несколько укорительных фраз. Ничуть

не бывало: я встретил его, как равный равного, или, лучше сказать, как счастливец встречает несчастливца, которому от всей души сочувствует, хотя, к сожалению, и не в силах преподать всех утешений, как бы желал. Я сам придвинул ему стул, предложил стакан чаю, папирос и проч. Это видимо его поразило, хотя некоторое время он все-таки еще не оставлял своего недоверия ко мне. Но и тут он был прекрасен! Он высказал мне так много истин и притом с таким пламенным убеждением, что, несмотря на горечь формы, я внутренне не мог не согласиться с ним!

Он говорил мне: "Вы фарисеи и лицемеры! Вы, как Исав, готовы за горшок чечевицы продать все так называемые основы ваши! вы говорите о святости вашего суда, а сами между тем на каждом шагу делаете из него или львиный ров, или сиренскую прелесть! вы указываете на брак, как на основу вашего гнилого общества, а сами прелюбодействуете! вы распинаетесь за собственность, а сами крадете! вы со слезами на глазах разглагольствуете о любви к отечеству, а сами сапоги с бумажными подметками ратникам ставите! И крадете, и убиваете, и клянетесь лживо, и жрете Ваалу!" И так далее, все в духе пророка Илии.

Милая маменька! как хотите, а тут есть доля правды! Особенно насчет ратников – ведь это даже факт, что наш бывший предводитель такими сапогами их снабдил, что они, пройдя тридцать верст, очутились босы! Быть может, слова: "жрете Ваалу" слишком уже смелы, но не знаю, как вам, а

мне эта смелость нравится! В ней есть что-то рыцарское...

Но когда я, со слезами на глазах, просил его успокоиться; когда я доказал ему, что в видах его же собственной пользы лучше, ежели дело его будет в руках человека, ему сочувствующего (я могу признавать его обличения несвоевременными, но не сочувствовать им – не могу!), когда я, наконец, подал ему стакан чаю и предложил папиросу, он мало-помалу смягчился. И теперь, милая маменька, из этого чувствительного, но не питающего к начальству доверия человека я вью веревки!

Постепенно он открыл мне всё, все свои замыслы, и указал на всех единомышленников своих. Поверите ли, что в числе последних находятся даже многие высокопоставленные лица! Когда-нибудь я покажу вам чувствительные письма, в которых он изливает передо мной свою душу: я снял с них копии, приложив подлинные к делу. Ах, какие это письма, милая маменька!

О замыслах его я тоже когда-нибудь лично сообщу вам, потому что боюсь поверить письму то, что покуда составляет еще тайну между небом, моим генералом и мной. Теперь же могу сказать только одно: они хотели переформировать всю Россию и, между прочим, требовали, чтобы каждый, находясь у себя дома, имел право считать себя в безопасности. Какая плодотворная мысль, если бы в ней не скрывался червь заблуждения! Но именно этот-то червь и испортил все, ибо под «безопасностью» они разумели не ограждение обы-

вателей от разбойников и воров (что было бы вполне плодотворно), но воспрещение полиции входить в обывательские квартиры!

Сверх того, под величайшим секретом могу сообщить вам и еще одну очень характеристичную подробность. Они предполагали уничтожить все нынешние министерства и заменить их только двумя: министерством оплодотворения и министерством отчаяния. В состав первого должны были войти нынешние министерства: финансов, народного просвещения и путей сообщения; в состав второго – министерства: внутренних дел и юстиции, а также государственный контроль. По плану преступного замысла, активную роль должно было играть только министерство оплодотворения, ибо лишь через развитие промышленности, народного богатства, просвещения и чрез устройство путей сообщения может быть достигнуто благоденствие страны. Министерство же отчаяния должно постоянно бездействовать и играть роль чисто коммеморативного свойства, то есть унылым видом своим напоминать гражданам о тех бедствиях, которым они подвергались в то время, когда это министерство было, так сказать, переполнено жизнью. Но что еще оригинальнее: чиновникам министерства отчаяния присвоятся двойные оклады жалованья против чиновников министерства оплодотворения на том основании, что первые хотя и бездействуют, но самое это бездействие имеет настолько укоризненный характер, что требует усиленного вознаграждения.

Когда я докладывал об этом моему генералу, то даже он не мог воздержаться от благосклонной улыбки. "А ведь это похоже на дело, мой друг!" — сказал он, обращаясь ко мне. На что я весело ответил: "Всякое заблуждение, ваше превосходительство, имеет крупицу правды, но правды преждевременной, которая по этой причине и именуется заблуждением". Ответ этот так понравился генералу, что он эту же мысль не раз после того в Английском клубе от себя повторял.

Много помог мне и уланский офицер, особенно когда я открыл ему раскаяние Филаретова. Вот истинно добрейший малый, который даже сам едва ли знает, за что под арестом сидит! И сколько у него смешных анекдотов! Многие из них я генералу передал, и так они ему пришли по сердцу, что он всякий день, как я вхожу с докладом, встречает меня словами: "Ну, что, как наш улан! поберегите его, мой друг! тем больше, что нам с военным ведомством ссориться не приходится!"

Тороплюсь закончить письмо мое, ибо положительно не имею минуты свободной. Верите ли, милая маменька: днем допросы снимаю, ночью записки составляю и пишу рапорты, отношения и предписания. Товарищи по службе уверяют, что я похудел, но в глубине души, я уверен, завидуют мне. Успех придал мне бодрость, так сказать, окрилил меня. Несмотря на бессонные ночи, я положительно не чувствую усталости. Весел, неウトомим, готов поболтать, а при

случае даже и посмеяться. Вчера вечером урвал минуту, чтобы взглянуть "La fille de m-me Angot",¹⁹ но не успел и одного акта досидеть, как потребовали к генералу...

Прощайте, милая маменька, и проч.

Николай Батищев.

Р. S. Адвокат Ерофеев третьего скопца заманил и сорвал с него какую-то совсем уж баснословную сумму. Слышно, что он пятипроцентные бумаги на бирже скупает. Как хотите, а он не только не дурак, каким его многие почитают, но, по моему, даже очень умен".

* * *

"Милый сын Николенька.

Никогда, даже когда была молода, ни одного романа с таким интересом не читывала, с каким прочла последнее твое письмо. Да, мой друг! мрачны, ах, как мрачны те ущелия, в которых, лишенная христианской поддержки, душа человеческая преступные свои ковы строит!

Сестрица Аня в полном от твоего Филаретова восхищении. "Представляю себе, говорит, как хорош бы он был в саккосе!" Но я, с своей стороны, его не одобряю и думаю, что озлобление этого человека оттого происходит, что он не дворянин. Если бы он был дворянином, то, как образован-

¹⁹ «Дочь мадам Анго» (франц.)

ный, без труда понял бы, что все сие неизбежно и при слабости нашей даже не без пользы. Хорошо по воскресеньям в церкви проповеди на этот счет слушать (да и то не каждое воскресенье, мой друг!), но ежели каждый день всячески будут тебя костить, то под конец оно и многонько покажется. Отец Федор тоже со мной соглашается, что хотя вразумлять и необходимо, однако же без потери чувств. Все мы люди, все в мире живем и все богу и царю виноваты, и как без сего обойтись — не знаем. Вот о чем надлежало бы твоему Филаретову помнить. Однако так как и генералу твоему предики этого изувера понравились, то оставляю это на его усмотрение, тем больше что, судя по письму твоему, как там ни разглагольствуй в духе пророка Илии, а все-таки разглагольствиям этим один неизбежный конец предстоит.

Гораздо больше понравился мне уланский офицер, фамилию которого ты, однако же, не пишешь. Пожалуйста, анекдотов его побольше собери и тетрадку нам пришли. В деревенском нашем уединении большое утешение нам составишь.

Пишешь ты также, что в деле твоём много высокопоставленных лиц замешано, то признаюсь, известие это до крайности меня встревожило. Знаю, что ты у меня умница и пустого дела не затеешь, однако не могу воздержаться, чтобы не сказать: побереги себя, друг мой! не поставляй сим лицам в тяжкую вину того, что, быть может, они лишь по легкомыслию своему допустили! Ограничь свои действия Филарето-

вым и ему подобными!

На этот счет, от опытности моей, могу сказать тебе следующее. Очень часто мы видим, что высшие лица опыты разные производят, а низшие этим соблазняются и за настоящее принимают. А так как без опытов прожить нельзя, то и в грех этим лицам ставить не следует, а следует ставить в грех лишь тем, которые не те опыты производят, какие от бога им предназначены. Есть люди высшие, средние и низшие – и соответственно с сим опыты! Высший человек, может и высшие опыты производить, потому что он же во всякое время и отменить их может. Низший же человек, как, например, твой Филаретов, коль скоро начинает не принадлежащие ему опыты производить, то сейчас же ими воспламеняется – и оттого происходит злоумышленность!

Поэтому, друг мой, ежели ты и видишь, что высший человек проштрафился, то имей в виду, что у него всегда есть ответ: я, по должности своей, опыты производил! И все ему простится, потому что он и сам себя давно во всем простил. Но тебе он никогда того не простит, что ты его перед начальством в сомнение или в погрешность ввел.

Вот почему я, как друг, прошу и, как мать, внушаю: берегись этих людей! От них всякое покровительство на нас нисходит, а между прочим, и напасть. Ежели же ты несомненно предвидишь, что такому лицу в расставленную перед ним сеть попасть надлежит, то лучше об этом потихоньку его предупредить и совета его спросить, как в этом случае посту-

пить прикажет. Эти люди всегда таковые поступки помнят и ценят.

Братец Григорий Николаич, по всем видимостям, к концу жизни своей приближается. Даже глаз почти не открывает, а все больше в усыплении находится. Истинно многотрудная жизнь его была! сколько он за гнусные свои идеи пострадал – так это даже вчуже вспомнить больно! А под конец, однако, смирился и даже рабов иметь за необходимое полагал! И все-таки, несмотря на суровые уроки, в нем эта старая дрянная искорка осталась! Намеднись прочли мы ему письмо твое, думали мнение его узнать, а он, вместо того, двусмысленность сделал. Но мы уж и тому рады, что он продолжает христианином быть. Боюсь только, как бы под конец какого баламуту не наделал!

Прощай, мой друг, и проч.

Надежда Батищева.

Р. S. А что ты насчет Ерофеева пишешь, то удивляюсь: неужто у вас, в Петербурге, скопцы, как грибы, растут! Не лжет ли он? Еще смолоду он к хвастовству непомерную склонность имел! Или, может быть, из зависти тебя соблазняет. Но ты соблазнам его не поддавайся и бодро шествуй вперед, как начальство тебе приказывает!"

* * *

"Любезная маменька.

Планы мои разрушились вдруг, в одну минуту...

Вы знаете мои правила! Вам известно, что я не могу быть предан не всецело! Ежели я кому-нибудь предаюсь, то делаю это безгранично... беззаветно! Я весь тут. Я люблю, чтоб начальник ласкал меня, и ежели он ласкает, то отдаюсь ему совсем! Если сегодня я отдаюсь душой судебному генералу, то его одного и люблю, и всех его соперников ненавижу! Но ежели завтра меня полюбит контрольный генерал, то я и его буду любить одного, и всех его соперников буду ненавидеть!

Дело, о котором я говорил вам в последнем письме моем, продолжало развиваться с ужасающею быстротой. Каждый день приносил новую животрепещущую подробность. Новые замыслы, новые планы, новые разветвления! Отдел «Общества» в Весьегонске, отдел в Тетюшах, отдел в Елабуге... одним словом, что-то ужасное! Вся Россия, пропитанная ядом «предвкушений»! Вся Россия, ничем другим не занимающаяся, кроме "терпеливого перенесения бедствий настоящего"! Какое потрясающее душу зрелище! И какие ужасные люди! Укоры, которые некогда высказал мне Феофан, уже представлялись мне чем-то вроде детского лепета! Передо мной предстали люди совершенно особенные, почти необыкновенные, которые даже не укоряли, а просто-напросто ругательски ругали меня! В их глазах Феофан слыл уже консерватором и даже ретроградом! Он еще допускал существование министерств (вы помните, милая маменька, его остроумную гипотезу двух министерств: оплодотворения и

отчаяния), а следовательно, и возможность административного воздействия; они же ровно ничего не допускали, а только, по выражению моего товарища, Коли Персиянова, требовали миллион четыреста тысяч голов.

Обо всем я, разумеется, каждодневно докладывал моему генералу, и, по-видимому, он выслушивал меня охотно. Не раз мы содрогались вместе, но и не раз удавалось мне возбуждать на его устах улыбку...

Милая маменька! Помнится, что в одном из предыдущих писем я разъяснял вам мою теорию отношений подчиненного к начальнику. Я говорил, что с начальниками нужно быть сдержанным и всячески избегать назойливости. Никогда не следует утомлять их... даже заявлениями преданности. Всё в меру, милая маменька! все настолько; чтобы физиономия преданного подчиненного не примелькалась, не опротивела!

Но, начертав себе эту *ligne de conduite*,²⁰ я, к сожалению, сам не удержался на ней. Я был усерден и предан *более, нежели требовалось*...

Я не знаю, как это случилось, но после целого месяца неслыханных с моей стороны усилий и бессонных ночей я почувствовал в голосе генерала ноту усталости. Горько прозвучала в душе моей эта нота, но на первых порах, по неопытности моей, я приписал это обстоятельство или подпольной интриге, или простой случайности. Я не понял, как много скрывается здесь для меня рокового, и, вместо того

²⁰ линию поведения (франц.)

чтобы обуздать свое усердие, еще больше усилил его. Каждое утро я приходил к генералу с новым, более и более обильным запасом подробностей, но, увы! уже не возбуждал ими ни содрогания, ни улыбки. Генерал устал, охладел – это было ясно. Тогда, чтобы сразу поднять мой упавший кредит, я придумал такой *coup de theatre*,²¹ который, по мнению моему, должен был *непрерывно* разбудить в нем гаснущий интерес к делу.

Надо вам сказать, что перед этим я только что открыл нечто новое и в высшей степени замечательное. Оказалось, что злоумышленники на общие деньги выписывали "Труды Вольно-экономического общества" и собирались в разных местах для совместного их чтения. Для чего они это делали? Разве они не могли читать «Труды» каждый в своей квартире? Разве стоят того «Труды», чтоб по поводу их затевать недозволенные сборища и тратиться на извозчиков? – вот вопросы, которыми я задался, милая маменька, и на которые сам себе дал ответ: нет, это неспроста!

Я не буду описывать вам, с каким восторгом я стремился утром к генералу, чтоб доложить ему о своем новом открытии, но едва начал свой рассказ, как уже меня поразило какое-то зловещее выражение, светившееся в его глазах.

– Я должен вам сказать, – произнес он холодно, – что еще вчера мною сделано распоряжение о совершенном прекращении этого дела.

²¹ трюк (франц.)

Я ничего не понял. Я стоял против него, затаив дыхание, и ждал.

— Я ничего не могу сказать, — продолжал он, — насколько важно или не важно производимое вами дело, потому что действия ваши не только не объяснили, но даже запутали и то, что было сделано вашими предместниками. Но я могу сказать положительно, что вот уже целый месяц, как вы подвергаете меня самым непростительным истязаниям. Я думал, что вы сами наконец поймете все неприличие вашей настойчивости, но, к сожалению, даже эта скромная надежда моя не оправдалась. Вчера вы хотели уверить меня, что в Котопе свила гнездо измена, а сегодня вы уже хотите заставить меня даже в таком факте, как совместное чтение "Трудов Вольно-экономического общества", видеть преступный умысел.

Я раскрыл рот, чтобы заявить о моем раскаянии и заверить, что его превосходительству стоит только указать мне путь...

— Я знаю, что вы хотите сказать, — остановил он меня, — вы усердны, молодой человек! — в этом отказать вам нельзя! Но вы *слишком* усердны, а это такой недостаток, перед которым даже совершенная бездеятельность представляется качеством далеко не бесполезным. Я более ничего не имею прибавить вам.

Да; он сказал мне все это, и голос его ни разу не дрогнул... И я должен был оставить его кабинет, не выразив ни оправ-

дания, ни даже раскаяния...

Я не могу передать вам в настоящем письме всех подробностей этой печальной истории: до такой степени она подавляет меня! Но, во всяком случае, вероятный ее результат вполне уже для меня выяснился: карьера, о которой я так недавно и так восторженно писал вам, – разрушена навсегда! Конечно, еще может подвернуться какой-нибудь особенный, сверхъестественный случай, который даст мне возможность вынырнуть, но до тех пор – я должен сознаться в этом – шансы мои очень и очень слабы! Усердие, на которое я так надеялся, – это самое усердие погубило меня. Не будь я так усерден, я не очутился бы в той беспримерной тоске, в которую меня повергла неудача моего предприятия. Но я превзошел самого себя – и пал жертвою своих собственных усилий! Какой поразительный урок, милая маменька! И как поучителен он должен быть для тех, которые проводят жизнь, по всем министерствам влача беззаветную свою преданность!

К довершению всего, неудача моя с быстротою молнии облетела все наше ведомство. Товарищи смотрят на меня с двусмысленными улыбками и при моем появлении шепчутся между собою. Вчера – зависть, сегодня – недоброжелательство и насмешки. Вот круг, в котором осуждена вращаться преданность...

И все эти люди, которые завтра же с полною готовностью сделают всё то, что я сделал вчера, без всякого стыда говорят вам о каких-то основах и краеугольных камнях, по-

сягательство на которые равносильно посягательству на безопасность целого общества!

О, Феофан Филаретов! как часто и с какою отрадой я вспоминаю о тебе в моем уединении! Ты сказал святую истину: в нашем обществе (зачеркнуто: "ведомстве") человек, ищущий справедливости, находит одно из двух: или ров львиный, или прелесть сиренскую!..

Прощайте, милая маменька! благословите и пожалейте несчастного, целующего ваши ручки, сына

Николая Батищева.

Р. S. Вы положительно несправедливы к Ерофееву, милая маменька. Это человек ума очень обширного, и ежели умеет сыскать полезного для себя скопца, то не потому, что они, как грибы, в Петербурге растут, а потому, что у него есть особенная к этому предмету склонность. В несчастии моем он один не усумнился отнестись ко мне симпатически и приехал пожать мою руку. Он помнит гостеприимство, которое вы оказывали ему, когда он к нам из школы по праздникам хаживал, и еще недавно с большим участием об вас расспрашивал. Он даже предлагал мне вступить с ним в компанию по ведению дел, и хотя я ни на что еще покуда не решился, однако будущность эта довольно-таки мне улыбается. Как хотите, а нигде, кроме частной деятельности, нельзя найти настоящей самостоятельности! Это единственная арена, на которой дорожат знающими и усердными людьми".

"Милый дружок Николенька.

Получив твое письмо, так была им поражена, что даже о братце Григории Николаиче забыла, который, за несколько часов перед тем, тихо, на руках у сестрицы Анюты, скончался. Христос с ним! слава богу, он умер утешенный! Не только никакой шутки над отцом Федором не позволил себе, но даже с истинно христианским благоговением напутствие его выслушал. Теперь он взирает на нас с высот небесных, а может быть, и дондесь душа его между нами витает и видит как горесть нашу, так и приготовления, которые мы к погребению его делаем.

Как ни прискорбна превратность, тебя постигшая, но и теперь могу повторить лишь то, что неоднократно тебе говорила: не одни радости в сем мире, мой друг, но и горести. А потому не ропщи. Ты все сделал, что доброму и усердному подчиненному сделать надлежало, — стало быть, совесть твоя чиста. По усердию твоему, ты хотел до конца твоего генерала прельстить; если же ты в том не успел, то, стало быть, богу не угодно было. Смирись же, друг мой! ибо на все его святая воля, мы же все странники, а бездыханный труп братца Григория Николаича даже сильнее, нежели прежде, меня в этой мысли утверждает!

Я не только на тебя не сержусь, но думаю, что все это со

временем еще к лучшему поправиться может. Так, например: отчего бы тебе немного погодя вновь перед генералом не открыться и не заверить его, что все это от неопытности твоей и незнания произошло? Генералы это любят, мой друг, и раскаивающимся еще больше протезируют!

Впрочем, предоставляю это твоему усмотрению, потому что хотя бы и хотела что-нибудь еще в поучение тебе сказать, но не могу: хлопот по горло. Теперь приготовляемся последний долг усопшему другу отдать, а после того и об утверждении в правах наследства подумать надо. Братец после себя прекраснейшее имение в Курской губернии оставил, а теперь, по божьему соизволению, оно должно перейти к нам. Сказывал старый камердинер его, Платон, что у покойного старая пассия в Москве жила и от оной, будто бы, дети, но она, по закону, никакого притязания к имению покойного иметь не может, мы же, по христианскому обычаю, от всего сердца грех ей прощаем и даже не желаем знать, какой от этого греха плод был! Жаль, конечно, детей, но ежели закон им прав не дает, то что же мы против закона сделать можем!

Прощай, друг мой; пиши, не удастся ли тебе постигшую грозу от себя отклонить и по-прежнему в любви твоего генерала утвердиться. А как бы это хорошо было! Любящая тебя мать

Надежда Батищева.

Р. S. Прости, Христа ради, что об Ерофееве так низко заключила. Теперь и сама вижу, что дела о скопцах не без вы-

годы. Быть может, провидение нарочно послало его, чтобы тебя утешить. Недаром же ты в каждом письме об нем писал: должно быть, предчувствие было, что понадобится".

* * *

"Любезная маменька.

Я подал в отставку.

Такое решение может вам показаться внезапным, но я сейчас докажу, что оно далеко не было с моей стороны внезапностью.

Я рассудил так: после моей катастрофы надеяться на скорое восстановление в мнении моего генерала было бы глупостью. Меня будут заставлять каждодневно обвинять, я каждый день буду одерживать победы над присяжными заседателями – и генерал будет говорить, что я только исполняю свою обязанность. Состав моих товарищей будет меняться, вследствие повышений, и я один останусь незыблем, покуда не сдадут меня наконец в виде милости, в архив, членом белозерского окружного суда, где я и буду до конца жизни судить белозерских счетов. Ясно, что такое будущее не имеет в себе ничего блестящего.

Поэтому, в видах моей же собственной пользы, необходимо, чтобы меня забыли или, лучше сказать, чтобы я напомнил о себе на другом поприще. Доселе – я обвинял; отныне – буду оправдывать. Я хочу доказать и докажу, что в области

правосудия нет ничего для меня недоступного. Убедившись в этом, генерал, без сомнения, сам поймет, чего он лишился, пренебрегши моими заслугами, и тогда мне останется только дать знать стороной, что и мое сердце не недоступно для раскаяния. И я вновь верну себе благосклонность моего начальника и вновь, еще с большею пламенностью, возьму в свои руки бразды обвинения. Но уже не иначе, милая маменька, как в качестве настоящего прокурора, а не товарища.

Весь этот план отлично объяснил мне Ерофеев, а куда дал мне отличнейший и очень выгодный способ проявить свои способности на поприще оправдания.

На днях предстоит Петербургу небывалое и величественное зрелище: будут судиться восемьдесят скопцов. Собственно, Ерофеев взял на себя лишь декоративную часть этого дела, на суде же у каждого из обвиненных будет по два защитника и по два подручных. Но так как в Петербурге нет такого количества способных на защиту скопцов адвокатов, то некоторым из защитников предоставлено будет участвовать в нескольких парах и, таким образом, кюмюлировать несколько гонораров. Каждой паре назначается гонорара сорок тысяч, из которых должно уделить некоторую часть подручным, в вознаграждение за некоторые занятия, требующие более телесных упражнений, нежели умственного труда.

Ерофеев обещал мне участие в нескольких парах, причем, на первый раз, на меня возложена будет защита самых легких скопцов, дабы на них я мог, так сказать, переломить первое

мое копье на арене защиты. Успех кажется мне до такой степени несомненным, что я уже заранее дал назначение своему гонорару. С вашего позволения, милая маменька, я приобрету ту пустошь, о покупке которой так часто мечтал покойный дяденька. Тогда имение наше будет вполне округлено и навсегда обеспечено лугами, в которых оно так сильно до сих пор нуждалось.

Итак, я бодр по-прежнему. Я сделался даже бодрее, ибо теперь уже не боюсь, что кто-нибудь меня внезапно обругает или оборвет.

Благословите же меня, добрый друг мой, потому что в настоящую минуту ваше благословление, более нежели когда-нибудь, для меня дорого. Остаюсь и проч.

Николай Батищев".

СТОЛП

В прежние времена, когда еще «свои мужички» были, родовое наше имение, Чемезово, недаром слыло золотым дном. Всего было у нас довольно: от хлеба ломились сусеки; тальками, полотнами, бараньими шкурами, сушеными грибами и другим деревенским продуктом полны были кладовые. Все это скупалось местными т – скими прасолами, которые зимою и глухую осень усердно разъезжали по барским усадьбам.

Между этими скупщиками в особенности памятен мне т – ский мещанин, Осип Иванов Дерунов. Я как сейчас вижу его перед собою. Человек он был средних лет (лет тридцати пяти или с небольшим) и чрезвычайно приятной наружности. Из лица бел, румян и чист; глаза голубые; на губах улыбка; зубы белые, ровные; волосы белокурые, слегка выующиеся; походка мягкая; голос – ясный и звучный тенор. В доме у нас его решительно все как-то особенно жаловали. Папенька любил за то, что он был словоохотлив, покладлив и прекрасно читал в церкви «Апостола»; маменька – за то, что он без разговоров накидывал на четверть ржи лишний гривенник и лишнюю копейку на фунт сушеных грибов; горничные девушки – за то, что у него для каждой был или подарочек, или ласковое слово. Поэтому, когда наезжал Дерунов, то все лица просветлялись. Господа видели в нем, так сказать, вы-

разителя их годового дохода; дворовые люди радовались из инстинктивного сочувствия к человеку оборотливому и живому. Позовут, бывало, Дерунова в столовую и посадят вместе с господами чай пить. Сидит он скромно, пьет не торопко, блюдечко с чаем всей пятерней держит. Рассказывает, где был, что у кого купил, как преосвященный, объезжая епархию, в К— не обедню служил, какой у протодьякона голос и в каких отношениях находится новый становой к исправнику и секретарю земского суда. Рассказывает, что нынче на все дороговизна пошла, и пошла оттого, что "прежние деньги на сигнации были, а тепериче на серебро счет пошел"; рассказывает, что дело торговое тоже трудное, что "рынок на рынок не потрафишь: иной раз дорого думаешь продать, ан ни за что спустишь, а другой раз и совсем, кажется, делов нет, ан вдруг бог подходящего человека послал"; рассказывает, что в скором времени "объявления набору ждать надо" и что хотя набор — "оно конечно" ... "одначе и без набору быть нельзя". Слушает папенька все эти рассказы и тоже не вытерпит — молвит:

— Башка, брат, у тебя, Осип Иваныч! Не здесь бы, не в захоlustье бы тебе сидеть! Министром бы тебе быть надо!

Так за Деруновым и утвердилась навсегда кличка «министр». И не только у нас в доме, но и по всей округе, между помещиками, которых дела он, конечно, знал лучше, нежели они сами. Везде его любили, все советовались с ним и удивлялись его уму, а многие даже вверяли ему более или менее

значительные куши под оборот, в полной уверенности, что Дерунов не только полностью отдаст деньги в срок, но и с благодарностью.

В то время Дерунов только что начинал набираться силы. В Т*** у него был постоянный двор и при нем небольшой хлебный лабаз. Памятен мне и этот постоянный двор, и вся обстановка его. Длинное одноэтажное строение выходило фасадом на неоглядную базарную площадь, по которой кружились столбы пыли в сухое летнее время и на которой тонули в грязи мужицкие возы осенью и весною. Крыт был дом соломой под щетку и издали казался громадным ошети-нившимся наметом; некрашенные стены от времени и непогод сильно почернели; маленькие, с незапамятных времен не мытые оконца подслеповато глядели на площадь и, вследствие осевшей на них грязи, отливали снаружи всевозможными цветами; тесовые почерневшие ворота вели в громадный темный двор, в котором непривычный глаз с трудом мог что-нибудь различать, кроме бесчисленных полос света, которые врывались сквозь дыры соломенного навеса и яркими пятнами пестрили навоз и улитый скотскою мочою деревянный помост. Приезжий въезжал в ворота и поглощался двором, словно пропастью. Слышались: фыркание лошадей, позвякивание колокольцев и бубенчиков, гулкий лет голубей, хлопанье крыльями домашней птицы; где-то, в самом темном углу, забранном старыми досками, хрюкал поросенок, откармливаемый на убой к одному из многочисленных

храмовых праздников. Обдавало запахом дегтя, навоза, самоварного чада и вареной убоины, пар от которой валил во двор через отворенную дверь черной избы. Направо от ворот спускалось во двор крыльцо с колеблющимися ступеньками и с небольшими сенцами вверху, в которых постоянно пыхтел самовар с вечно наставленною трубою. Выйдя из сеней, вы встречали нечто вроде холодного коридора с чуланчиками и кладовушками на каждом шагу, в котором царствовала такая крошечная тьма, что надо было идти ощупью, чтоб не стукнуться лбом об какую-нибудь перекладину или не споткнуться. Из этого коридора шли двери, прежде всего в черную избу, в которой останавливались подводчики и прочий серый люд, и затем в "чистые покои", где останавливались проезжие помещики. Черная изба была довольно обширная о трех окнах комната, в которой, за перегородкой, с молодою женой (женился он довольно поздно, когда ему было уже около тридцати лет) ютился сам хозяин. "Чистые покои" были маленькие, узенькие комнатки; в них пахло затхлостью, мышами и тараканами; половицы шатались и изобиловали щелями и дырами, прогрызенными крысами; газетная бумага, которою обклеены были стены, местами висела клочьями, местами совсем была отодрана. Оконные рамы чуть держались на петлях и при всяком порыве ветра с шумом отворялись или захлопывались. И сколько тут было мух, тараканов, клопов!

Несмотря на эту незавидную обстановку, проезжий люд

так и валил к Осипу Иванову. Для черного люда у него были такие щи, "что не продуеть", для помещиков – приветливое слово и умное рассуждение вроде того, что "прежде счет на сигнации был, а нынче на серебро пошел". Мне, юноше лет тринадцати – четырнадцати, было столько раз говорено об уме Осипа Иваныча, что я даже побаивался его. Когда я останавливался на его постоялом дворе, проездом, во время каникул, в родное гнездо, он обращался со мною ласково и в то же время учительно. Войдет, бывало, в занятую мною комнату, сядет, покуда я закусываю, у стола против меня и начнет экзаменовать.

– В побывку, паренек, собрался?

– На каникулы, Осип Иваныч.

– Гм!.. каникулы... это когда песьи мухи одолевают? Ну, надо экзамент тебе сделать. Учителям потрафлял ли?

– Потрафлял, Осип Иваныч.

– Это хорошо, что учителям потрафляешь. В науку пошел – надо потрафлять. Иной раз и занапрасно учитель побьет, а ты ему: "Покорно, мол, благодарю, Август Карлыч!" Ведь немцы поди у вас?

– Немцы, Осип Иваныч; только у нас учителям бить не позволяется.

– И не позволяется, а всё же, чай, потихоньку исправляются. И нас царь побивать не велел, а кто только нас не побивает!

– Ей-богу, Осип Иваныч, у нас не бьют!

Но Осип Иванович только покачивает в ответ головой, что меня всегда очень обижало, потому что я воспитывался в одном из тех редких в то время заведений, где действительно телесное наказание допускалось лишь в самых исключительных случаях.

– А заповедям учился? – продолжает между тем экзаменовать Осип Иванович.

– Знаю.

– А коли знаешь, так, значит, прежде всего бога люби да родителей чти. Почитаешь ли родителей-то?

– Почитаю, Осип Иванович.

– Чти родителей, потому что без них вашему брату деться некуда, даром что ты востер. Вот из ученья выйдешь – кто тебе на прожиток даст? Жениться захочешь – кто невесту припасет? – всё родители! – Так ты и утром и вечером за них бога моли: спаси, мол, господи, папыньку, мамыньку, сродственников! Всех, сударь, чти!

– И то чту!

– То-то, говорю: чти! Вот мы, чернядь, как в совершенные лета придем, так сами домой несем! Родитель-то тебе медную копеечку даст, а ты ему рубль принеси! А и мы родителей почитаем! А вы, дворяна, ровно малолетные, до старости все из дому тащите – как же вам родителей не любить!

– Выйду из ученья, на службу поступлю, сам буду жалованье получать.

– Велико твое жалованье – в баню на него сходить! Жало-

ванья-то дадут тебе алтын, а прихотей у тебя на сто рублей. Тут только тебе подавай!

Я не возражал; наступало несколько минут затишья, в продолжение которых Осип Иваныч громко зевал и крестил свой рот. Но не такой он был человек, чтобы скоро отстать.

– Я тоже родителей чтил, – продолжал он прерванную беседу, – за это меня и бог благословил. Бывало, родитель-то гневается, а я ему в ножки! Зато теперь я с домком; своим хозяйством живу. Всё у меня как следует; пороков за мной не состоит. Не пьяница, не тать, не прелюбодей. А вот братец у меня, так тот перед родителями-то фордыбаченьем думал взять – ан и до сих пор в кабале у купцов состоит. Курицы у него своей нет!

– Может быть, его обделили?

– Не кто обделил, сам себя обделил. Сама себя раба бьет, коли плохо жнет. На все, сударь, воля родительская!

Проекзаменовавши меня таким родом и оставшись испытанием доволен, Осип Иваныч предлагал мне отдохнуть с дороги и уводил в баньку, где расстилалось душистое одворичное сено и куда ни одна муха, ни один клоп не смели проникнуть. Там я засыпал тем глубоким и освежительным сном, которым может засыпать только юноша, испытывший сряду несколько дней тряской и бессонной дороги. Часа через три меня, полусонного, поднимали с мягкого ложа, укладывали в тарантас и увозили из Т*** в Чemezovo, где ждали меня новые экзамены в том же роде и духе, как и сейчас выдер-

жанный экзамен Осипа Ивановича.

Но тогда было время тугое, и, несмотря на оборотливость Дерунова, дела его развивались не особенно быстро. Он выписался из мещан в купцы, слыл за человека зажиточного, но долго и крепко держался постоянного двора и лабаза. Может быть, и скопился у него капиталец, да по тогдашнему времени пристроить его было некуда.

Рисковать было не в обычае; жили осторожно, прижми-сто, как будто боялись, что увидят – отнимут. Конечно, и тогда встречались аферисты и пройдохи, но чтобы идти по их следам, нужно было иметь большую решимость и несомненную готовность претерпеть. Человек робкий, или, как тогда говорилось, «основательный», неохотно ввязывался в операции, которые были сопряжены с риском и хлопотами. Богатства приобретались терпением и неустанным присовокуплением гроша к грошу, для чего не требовалось ни особой развязности ума, ни той канальской изворотливости, без которой не может ступить шагу человек, изъясляющий твердое намерение выбрать из карманов своих ближних все, что в них обретається.

С тех пор прошло около двадцати лет. В продолжение этого времени я вынес много всякого рода жизненных толчков, странствуя по морю житейскому. Исколесовал от конца в конец всю Россию, перебивал во всевозможных градах и весях: и соломенных, и голодных, и холодных, но не видал ни Т***, ни родного гнезда. И вот, однако ж, судьба бросила меня и

туда.

Приезжаю в Т*** и с первого же взгляда убеждаюсь, что умы развязались. Во-первых, к самым, так сказать, воротам города проведена железная дорога. Двадцать лет тому назад никто бы не догадался, что из Т*** можно что-нибудь возить; теперь не только возят, но даже прямо говорят, что и конца этой возке не будет. Двадцать лет тому назад почти весь местного производства хлеб потребляли на месте; теперь – запрос на хлеб стал так велик, что съесть его весь сделалось как бы щекотливым. Свистнет паровоз, загрохочет поезд – и увозит бунты за бунтами куда-то в синюю даль. И даже не знает бессмысленная чернь, куда исчезает ее трудовой хлеб и кого он будет питать...

Во-вторых, кабаков было не больше пяти-шести на весь город; теперь на каждый переулок не менее пяти-шести кабаков.

В-третьих, город осенью и весной утопал в грязи, а летом задыхался от пыли; теперь – соборную площадь уж вымостили, да, того гляди, вымостят и Московскую улицу.

В-четвертых, прежде был городничий, который всем ведал, всех карал и миловал; теперь – до того доведено самоуправление, что даже в городские головы выбран отставной корнет.

В-пятых, прежде правосудие предоставлялось уездным судам, и я как сейчас вижу толпу голодных подьячих, которые за рубль серебра готовы были вам всякое удовлетво-

рение сделать. Теперь настоящего суда нет, а судит и рядит какой-то совершенно безрассудный отставной поручик из местных помещиков, который, не ожидая даже рубля серебром, в силу одного лишь собственного легкомыслия, готов во всякую минуту вконец обездолить вас.

В-шестых, наконец, прежде совсем не было адвокатов, а были люди, носившие название «ябедников», "приказных строк", "крапивного семени" и т. д., которые ловили клиентов по кабакам и писали неосновательные просьбы за косушку. Нынче и в Т*** завелось до десяти «аблакатов», которые и за самую неосновательную просьбу меньше красненькой не возьмут.

* * *

Вместе с общим обновлением изменилось и положение Дерунова. Еще ехавши по железной дороге в Т***, я уже слышал, что имя его упоминалось, как имя главного местного воротилы. Разбогател он страшно и уже не сколачивал по копеечке, а прямо орудовал. Арендовал у помещиков винокуренные заводы, в большинстве городов губернии имел винные склады, содержал громадное количество кабаков, скупал и откармливал скот и всю местную хлебную торговлю прибрал к своим рукам. Одним словом, это был монополист, который всякую чужую копейку считал гулящею и не успокоивался до тех пор, пока не залучит всё в свой карман.

Ранним утром поезд примчал нас в Т***. Я надеялся, что найду тут своих лошадей, но за мной еще не приехали. В ожидании я кое-как приютился в довольно грязной местной гостинице и, имея сердце чувствительное, разумеется, не утерпел, чтобы не повидаться с дорогими свидетелями моего детства: с постоялым двором и его бывшим владельцем.

Старого постоялого двора уже не было и следа. На месте его возвышались двухэтажные каменные палаты с просторными флигелями и амбарами, в которых помещались контора и склады. Ужасно это меня огорчило. Вот тут, на самом этом месте, была любезнейшая сердцу грязь; вот здесь я лакомился сдобными лепешками со сливками; вот там я дразнил индюка... И вдруг – ничего этого нет! Какие-то каменные палаты, от которых не веет ничем, отзывающимся сердечною теплотою! До такой степени это поразило меня, что, взойдя на парадное крыльцо, я даже предложил себе вопрос, не дать ли тягу. Кто знает, не окаменел ли и сам Дерунов, подобно своим палатам! Вспоминает ли о прежних сереньких днях, или же он и прошлое свое, вместе с другою ненужною ветошью, сбыл куда-нибудь в такое место, где его никакими способами даже отыскать нельзя! Я несчастлив, и потому очень понятно, что для меня всякая подробность прошлого имеет цену светлого воспоминания. Напротив того, Дерунов счастлив – зачем же, спрашивается, ему прошлое, в котором все-таки было не без плутней, а следовательно, и не без по-

тасовок за оные?

Теперь Дерунов – опора и столп. Авторитеты уважают, собственность чтит, насчет семейного союза нимало не сомневается. Он много и беспрекословно жертвует и получает за это медали; на нем почиет множество благословений Синода; у него в доме останавливается, во время ревизии, губернатор; его чуть не боготворит исправник и тщетно старается подкузывать мировой судья. В довершение всего, у него дочь выдана за полковника. Какое значение могу я иметь в его глазах, кроме значения ненужного напоминания прошлого? Я не могу ничего ни продать, ни купить, ни даже предложить какие-нибудь услуги. Я – ветошь прошлого, очевидец замасленной сибирки, загаженных мухами счетов, на которых он когда-то щелкал, приговаривая: "За самовар пять копеечек, овсеца меру брали – двадцать копеечек, за тепло – сколько пожалуете" и т. д. Зачем я пришел?

Но покуда я раздумывал, в воротах дома показался сам старик Дерунов, который только что окончил свои распоряжения во дворе.

Несмотря на свои с лишком шестьдесят лет, он был совершенно бодр и свеж. Он представлял собою совершеннейший тип той породы крепких, сильных и румяных стариков, которых называют благолепными. Голубые глаза его слегка потускнели, вследствие старческой слезы, но смотрели по-прежнему благодушно, как будто говорили: зачем тебе в душу мою забираться? я и без того весь тут! Волоса побелели,

но еще кудрявились, обрамливая обнаженный череп и обра-
зую вокруг головы род облака. Та же приятная улыбка на гу-
бах, тот же мягкий, лишь слегка надтреснутый тенор. Сло-
вом сказать, передо мной стоял прежний Осип Иванов, но
только посановитее и в то же время поумнее и пощеголе-
ватее.

– Вам до меня? – обратился он ко мне с вопросом. Я на-
звал себя.

Старик постоял с минуту, как бы ища в своей памяти, но
наконец вспомнил. И, сказать по правде, вспомнил с види-
мым удовольствием.

– Господи! – засуетился он около меня, – легко ли дело,
сколько годов не видались! Поди, уж лет сорок прошло с тех
пор, как ты у меня махонькой на постоялом лошадей карм-
ливал!

– Сорок не сорок, а много-таки воды утекло!

– Что и говорить! Вот и у вас, сударь, головка-то беленька
стала, а об стариках и говорить нечего. Впрочем, я на себя
не пожалуюсь: ни единой во мне хворости до сей поры нет!
Да что же мы здесь стоим! Милости просим наверх!

Пошли в дом; лестница отличная, светлая; в комнатах
– благолепие. Сначала мне любопытно было взглянуть, ка-
ков-то покажется Осип Иванович среди всей этой роскоши,
но я тотчас же убедился, что для моего любопытства нет ни
малейшего повода: до такой степени он освоился со своею
новою обстановкой.

– Вот какую хижу я себе выстроил! – приветствовал он меня, когда мы вошли в кабинет, – теперь у меня простора вдоволь, хоть в дрожках по горницам разъезжай. А прежде-то что на этом месте было... чай, помните?

– Да не забыл-таки. И знаете ли, Осип Иваныч, как подходил к вашему дому да увидел, что прежнего постоянного двора нет – как будто жаль стало!

– Что жалеть-то! Вони да грязи мало, что ли, было? После постоянного-то у меня тут другой домик, чистый, был, да и в том тесно стало. Скоро пять лет будет, как вот эти палаты выстроил. Жить надо так, чтобы и светло, и тепло, и во всем чтоб приволье было. При деньгах да не пожить? за это и люди осудят! Ну, а теперь побеседуемте, сударь, закусимте; я уж вас от себя не пущу! Сказывай, сударь, зачем приехал? нужды нет ли какой?

Старик, очевидно, не знал, какой тон установить в отношении ко мне, и потому непрерывно переходил от «вы» на «ты».

– Да у вас, чай, дела; еще удержишь...

– Какие дела! всех дел не переделаешь! Для делов дельцы есть – ну, и пускай их, с богом, бегают! Господи! сколько годов, сколько годов-то прошло! Голова-то у тебя ведь почесть белая! Чай, в город-то в родной въехали, так диву дались!

– Да, порядочно-таки изменился!

– Постой, что еще вперед будет! Площадь-то какая прежде была? экипажи из грязи народом вытаскивали! А те-

перь посмотри – как есть красавица! Собор-то, собор-то! на кумпол-то взгляни! За пятнадцать верст, как по остреченскому тракту едешь, видно! Как с последней станции выедешь – всё перед глазами, словно вот рукой до города-то подать! Каменных домов сколько понастроили! А уж, как Московскую улицу вымостим да гостиный двор выстроим – чем не Москва будет!

– Хорошо-то хорошо... да ведь и прежде...

– Нечего, сударь, прежнего жалеть! Надо дело говорить: ничего в «прежнем» хорошего не было! Я и старик, а не жалею. Только вонь и грязь была. А этого добра, коли кому приятно, и нынче вдоволь достать можно. Поезжай в "Пешую слободу" да и живи там в навозе!

Осип Иваныч на минуту остановился и не то восторженно, не то иронически воскликнул:

– Одних питейных заведений у нас нынче числом шестьдесят пять штук!

– Да? ну, это, конечно, усовершенствование немаловажное...

– Не нравится? А мне так любо смотреть! ровно часовые по улице-то стоят! впустить впустят, а выпустить – и думать не моги!

– Что ж тут хорошего!

– А то и хорошо, что вольному воля! Прежде насчет всего запрет был, а нынче – воля! А впрочем, доложу вам, умному человеку на этот счет все едино: что запрет, что воля. Когда

запрет был – у умного человека на предмет запрета выдумка была; воля пришла – у него на предмет этой самой воли выдумка готова! Умный человек никогда без хлеба не оставался. А что касается до прочих, так ведь и для них все равно. Только навыворот... ха-ха!

Осип Иваныч звонко и добродушно засмеялся и даже несколько, кажется, удивился, что и я вместе с ним не смеюсь.

– Да что ж ты унылой какой сделался! – сказал он, – а ты побравее, поповоротливее, взглядывай! потрафляй! На меня смотри: чем был и чем стал!

– Да, вам таки посчастливилось, кажется!

– Благословил господь! А все-таки скажу, в нашем деле как кому потрафится! Сумел потрафить – с рублем будешь; не сумел – в трубу вылетел! Одно верно: руки склавши сидеть будешь – много не наживешь! Не мало тоже я думы передумал, покуда решился колесо-то это завести. Прежде и я по зернышку клевал, ну, а потом вижу люди горстями хватают, – подумал: "Не все же людям, и нам, может, частица перепадет!" Да об этом после! Что мы так-то сидим! Эй, чаю сюда! да закусочки! Господи! сколько лет, сколько зим! Еще от родителей ваших, сударь, ласку видел, вот оно когда знакомство-то наше началось! Недавно еще мимо Чемезова-то проезжал – вспоминал! как же! Дом-то барский, сказывают, уж обвалился; ни замков, ни заслонок, даже кирпичи из печей – и те повытасканы. Пожалел я: стоит махина без окон,

словно инвалид без глаз!

Осип Иваныч неодобрительно покачал головой. Между тем подали чай, а на другом столе приготавливали закуску.

– Туда, что ли, сударь, едете? – обратился ко мне Дерунов.

– Туда.

– Что делать предполагаете?

– Да посмотрю...

– По правде сказать, невелико вам нынче веселье, дворянам. Очень уж оплошали вы. Начнем хоть с тебя: шутка сказать, двадцать лет в своем родном гнезде не бывал! "Где был? зачем странствовал?" – спросил бы я тебя – так сам, чай, ответа не дашь! Служил семь лет, а выслужил семь реп!

– Всякому свое, Осип Иваныч. Может быть, и на нашей улице будет праздник!

– Знаю я, сударь, что начальство пристроить вас куда-нибудь желает. Да вряд ли. Не туда вы глядите, чтоб к какому ни на есть делу приспособиться!

– Уж будто и дела для нас никакого не найдется!

– Какое же дело! Вино вам предоставлено было одним курить – кажется, на что статья подходящая! – а много ли барыша нажили! Побились, побились, да к тому же Дерунову на поклон пришли – выручай! Нечего делать – выручил! Теперь все заводы в округе у меня в аренде состоят. Плачу аренду исправно, до ответственности не допускаю – загребай помещик денежки да живи на теплых водах!

– Воспитание, Осип Иваныч, не такое мы получили, чтоб

об материальных интересах заботиться. Я вот по-латыни прежде хорошо знал, да, жаль, и ее позабыл. А кабы не позабыл, тоже утешался бы теперь!

— На пустые поля да на белоус гляючи. Так, сударь! А надолго ли, смею спросить, в Чемезово-то собрались?

— Нет, зачем надолго! Посмотреть да кой-чем распорядиться — и опять в Петербург!

— То-то. В деревне ведь тоже пить-есть надо. Земля есть, да ее не укусишь. А в Петербурге все-таки что-нибудь добудешь. А ты не обидься, что я тебя спрошу: кончать, что ли, с вотчиной-то хочешь?

— Хотелось бы. Крестьяне на выкупе, земля — обрезки кое-какие остались; не к рукам мне, Осип Иваныч!

— А не к рукам, так продать нужно. Дерунова за бока! Что ж, я и теперь послужить готов, как в старину служивал. Даром денег не дам, а настоящую цену отчего не заплатить? Заплачу!

— Да ведь настоящая-то цена... кто ее знает, какая она?!

— Настоящая цена — христианская цена. Чтоб ни мне, ни тебе — никому не обидно; вот такая это цена! У тебя какая земля! И тебе она не нужна, и мне не нужна! Вот по этому самому мачтабу и прикладывай, чего она стоит!

— Однако ведь вы охотитесь же купить!

— Так, балую. У меня теперь почесть четверть уезда земли-то в руках. Скупаю по малости, ежели кто от нужды продает. Да и услужить хочется — как хорошему человеку не

услужить! Все мы боговы слуги, все друг дружке тяготы нести должны. И с твоей землей у меня купленная земля по смежности есть. Твои-то клочки к прочим ежели присовокупить – ан дача выйдет. А у тебя разве дача?

– Ну, кроме вас, и крестьяне, может быть, пожелают приобрести.

– Крестьяне? крестьянину, сударь, дани платить надо, а не о приобретении думать. Это не нами заведено, не нами и кончится. Всем он дань несет; не только казне-матушке, а и мне, и тебе, хоть мы и не замечаем того. Так ему свыше прописано. И по моему слабому разуму, ежели человек бедный, так чем меньше у него, тем даже лучше. Лишней обузы нет.

Суждение это было так неожиданно, что я невольно взглянул на моего собеседника, не рассердился ли он на что-нибудь. Но он по-прежнему был румян; по-прежнему невозмутимо-благодарно смотрели его глаза; по-прежнему на губах играла приятная улыбка.

– Да уж не рассердили ли вас чем-нибудь крестьяне, что вы от лишней обузы облегчить их хотите? – спросил я.

– Я-то сержусь! Я уж который год и не знаю, что за «сердце» такое на свете есть! На мужичка сердиться! И-и! да от кого же я и пользу имею, как не от мужичка! Я вот только тебе по-христианскому говорю: не вяжись ты с мужиком! не твое это дело! Предоставь мне с мужика получать! уж я своего не упущу, всё до копейки выберу!

– Послушайте, однако ж: почему же вы полагаете, что я не

получу? Ведь это странно: вы получите, а я не получу!

– Ничего тут странного нет. Вы только подумайте, сударь, мое ли дело или ваше! Я вот аблаката нанимаю, полторы тысячи ему плачу, так он у меня и в пир, и в мир. Ездит себе да покатывается. У меня в год-то, может, больше сотни дел во всех местах перебывает. Тут и в грош есть, и в тысячу. Так разложите эти полторы тысячи на сто дел – что выйдет! Плевое дело? А тебе из-за каждой срубленной елки, из-за каждой гривенной потравы аблаката нанимать нужно! Резон ли это? Где ты столько денег найдешь, чтобы эту прорву насытить? Да и аблаката-то где еще найдешь? за ним тоже в город ехать нужно, харчиться, убытчиться! Во что это тебе вскочит? А земля-то, сударь, хоть и нет у нее души, а чувствует она, матушка, что у ней настоящего радетеля нет!

– Да я не об земле. Я знаю, что я не радетель земле. Я землю мужикам продам, а с мужиков деньги получу.

– Разом ничего вы, сударь, с них не получите, потому что у них и денег-то настоящих нет. Придется в рассрочку дело оттягивать. А рассрочка эта вот что значит: поплатят они с грехом пополам годок, другой, а потом и надоест: всё плати да плати!

– Надоест! Это разве резон! ведь не бессудная же земля!

– И земля не бессудная, и резону не платить нет, а только ведь и деньга защитника любит. Нет у нее радетеля – она промеж пальцев прошла! есть радетель – она и сама собой в кармане запутается. Ну, положим, рассрочил ты крестьянам

уплату на десять лет... примерно, хоть по полторы тысячи в год...

"По полторы тысячи! стало быть, пятнадцать тысяч в десять лет! – мелькнуло у меня в голове. – Однако, брат, ты ловок! сколько же *разом-то* ты намерен был мне отсыпать!"

– Ну, продал, заключил условие, уехал. Не управляющего же тебе нанимать, чтоб за полуторами тысячами смотреть. Уехал – и вся недолга! Ну год они тебе платят, другой платят; на третий – пишут: сенов не родилось, скот выпал... Неужто ж ты из Питера сюда поскачешь, чтоб с ними судиться?!

– Не поскачу, а напишу кому следует.

– Да ведь у них и взаправду скот выпал – неужто ты их зорить будешь!

– Однако, ведь вы взыскали бы?

– Я – другое дело. Я радетель. Я и землю соблюду, и деньги взыщу. Я всякое дело порядком поведу. Ежели, бы я, например, и совсем за землей не смотрел, так у меня крестьянин синь пороха не украдет. Потому, у него исстари составилось мнение, что у Дерунова ничего плохо не лежит. Опять же и насчет взысканий: не разоряю я, а исподволь взыскиваю. Вижу, коли у которого силы нет – в работу возьму. Дрова заставляю пилить, сено косить – мне всего много нужно. Ему приятно, потому что он гроша из кармана не вынул, а ровно бы на гулянках отработался, а мне и того приятнее, потому что я работой-то с него, вместо рубля, два получу!

– Ну, а вы... сколько бы вы мне за землю предложили?

– Пять тысяч – самая христианская цена. И деньги сейчас в столе – словно бы для тебя припасены. Пять тысяч на круг! тут и худая, и хорошая десятина – всё в одной цене!

– Ну, нет, это дешёвенько. Лучше уж я посмотрю!

– Посмотри! что ж, и посмотреть не худое дело! Старики говаривали: "Свой глазок – смотрок!" И я вот стар-стар, а везде сам посмотрю. Большая у меня сеть раскинута, и не оглядишь всё – а все как-то сердце не на месте, как где сам недосмотришь! Так день-деньской и маюсь. А, право, пять тысяч дал бы! и деньги припасены в столе – ровно как тебя ждал!

Однако я ничего не ответил на этот новый вызов. Мы оба на минуту смолкли, но я инстинктивно почувствовал, что между нами вдруг образовалась какая-то натянутость. Я смотрел в сторону, Осип Иванович тоже поглядывал куда-то в угол.

– Ну, а ваши дела как? – прервал я первый молчание.

– Нечего бога гневить – дела хороши! Нынче только мозгами шевелить не ленись, а денёга сама к тебе привалит!

– Хлебом торгуете?

– Хлебом нынче за первый сорт торговать. Насчет податей строго стало, выкупные требуют – ну, и везут. Иному и самому нужно, а он от нужды везет. Очень эта операция нынче выгодная.

– Скот скупаете тоже, я слышал?

– И скот скупать хорошо, коли ко время. Вот в марте кор-

мы-то повыберутся, да и недоимки понуждать начнут – тут только не плошай! За бесценок целые табуны покупаем да на винокуренных заводах на барду ставим! Хороший барыш бывает.

– Леса, вино?

– И лесами подобрались – дрова в цене стали. И вино – статья полезная, потому – воля. Я нынче фабрику миткалевую завел: очень уж здесь народ дешев, а провоз-то по чугунке не бог знает чего стоит! Да что! Я хочу тебя спросить: пошли нынче акции, и мне тоже предлагали, да я не взял!

– Что ж так?

– Опаску имею. Намеднись даже генерал ко мне из Питера приезжал. Снял, вишь, железную дорогу, так в учредители звал. Очень хвалил!

– За чем же стало?

– То-то, что Сибирь-то еще у меня в памяти! Забыть бы об ней надо! Еще бы вольнее орудовать можно было!

– С какой же тут стати Сибирь?

– Да ведь на грех мастера нет. Толковал он мне много, да мудрено что-то. Я ему говорю: "Вот рубль – желаю на него пятнадцать копеечек получить". А он мне: "Зачем твой рубль? Твой рубль только для прилику, а ты просто задаром еще другой такой рубль получишь!" Ну, я и поусомнился. Сибирь, думаю. Вот сын у меня, Николай Осипыч, – тот сразу эту механику понял!

– Должно быть, ваш генерал помещение для облигаций

выгодное нашел; ну, акции-то и пойдут, как будто на придачу.

– Вот это самое и он толковал, да вычурно что-то. Много, ах, много нынче безместных-то шляется! То с тем, то с другим. Намеднись тоже Прокофий Иваныч – помещик здешний, Томилиным прозывается – с каменным углем напрашивался: будто бы у него в имении не есть этому углю конца. Счастливики вы, господа дворяне! Нет-нет да что-нибудь у вас и окажется! Совсем было капут вам – ан вдруг на лес потребитель явился. Леса извели – уголь явился. Того гляди, золото окажется – ей-богу, так!

– Вот как вы все земли-то купите, вам все и достанется: и уголь, и золото! Ну, а семейство ваше как?

– Живем помаленьку. Жена, слава богу, поперек себя шире стала. В проферанец играть выучилась! Я ей, для покою, и компанию составил: капитан тут один, да бывший судья, да Глафирин Николай Петрович.

– Это предводитель-то?

– Был предводителем, а нынче он, как и прочие, на бога да на каменный уголь надежду имеет. Сколь прежде был лют, столь нынче смирен. Собираются с обеда да и обыгрывают Анну Ивановну помаленьку. Мне не убыточно, им – рублишко на молочишко, а ей – моцион!

– А дети?

– Старший сын, Николай, дельный парень вышел. С понятием. Теперь он за сорок верст, в С***, хлеб закупать уехал!

С часу на час домой жду. Здесь-то мы хлеб нынче не покупаем; станция, так конкурентов много развелось, приказчиков с Москвы насылают, цены набивают. А подальше – поглуше. Ну, а младший сын, Яков Осипыч, – тот с изъянцем. С год места на глаза его не пуцаю, а по времени, пожалуй, и совсем от себя отпихну!

– Жалко.

– Непочтителен. Я уж его и в смиренный за непочтение сажал – всё неймется. Теперь на фабрику к Астафью Астафьичу – англичанин, в управителях у меня живет – под начало его отдал. Жаль малого – да не что станешь делать! Кажется, кабы не жена у него да не дети – давно бы в солдаты сдал!

– И женат?

– Женат, четверо детей. Жена у него, в добрый час молвить, хорошая женщина! Уж так она мне приятна! так приятна! и покорна, и к дому радельна, словом сказать, для родителей лучше не надо! Все здесь, со мною живут, всех у себя приютил! Потому, хоть и противник он мне, а все родительское-то сердце болит! Не по нем, так по присным его! Кровь ведь моя! ты это подумай!

– Что говорить! Стало быть, только двое сыновей у вас и есть?

– Сынов двое, да дочь еще за полковника выдана. Хороший человек, настоящий. Не пьет; только одну рюмку перед обедом. Бережлив тоже. Живут хорошо, с деньгами.

– Еще бы не с деньгами! чай, порядочный куш в приданое-то отсыпали!

– Нет, я на этот счет с оглядкой живу. Ласкать ласкаю, а баловать – боже храни! Не видевши-то денег, она все лишний раз к отцу с матерью забежит, а дай ей деньги в руки – только ты ее и видел. Э, эх! все мы, сударь, люди, все человеки! все денежку любим! Вот помирать стану – всем распределю, ничего с собой не унесу. Да ты что об семье-то заговорил? или сам обзавестись хочешь?

– Куда мне! И одному-то вряд прожить, а то еще с семьей!

– Не говори ты этого, сударь, не грехи! В семье ли человек или без семьи? Теперича мне хоть какую угодно принцессу предоставь – разве я ее на мою Анну Ивановну променяю! Спаси господи! В семью-то придешь – ровно в раю очутишься! Право! Благодать, тишина, всякий при своем месте – истинный рай земной!

Осип Иваныч зевнул и перекрестил рот. Разговор видимо истошился. Я уже встал с намерением проститься, но гостеприимный хозяин и слышать не хотел, чтоб я уехал, не отведав его хлеба-соли. Кстати, в эту самую минуту послышался стук подъезжающего к крыльцу экипажа.

– Да вот и Николай Осипыч воротился! – сказал Осип Иваныч, подходя к окну, – так и есть, он самый! Познакомьтесь! Он хоть и не воспитывался в коммерческом, а малый с понятием! Кстати, может, и мимо Чемезова проезжал.

Через минуту в комнату вошел средних лет мужчина,

точь-в-точь Осип Иваныч, каким я знал его в ту пору, когда он был еще мелким прасолом. Те же ласковые голубые глаза, та же приятнейшая улыбка, те же выющиеся каштановые с легкою проседию волоса. Вся разница в том, что Осип Иваныч ходил в сибирке, а Николай Осипыч носит пиджак. Войдя в комнату, Николай Осипыч помолился и подошел к отцу, к руке. Осип Иваныч отрекомендовал нас друг другу.

– Ну, что, как торги?

– Торговал, папенька, за первый сорт. Только в С*** задержечка вышла. Ездил в Р*** – там купил.

– Что так? не чикуновские ли приказчики наехали?

– Нет, благодарение богу, окромя нас, еще никого не видеть. А так, промежду мужичков каприз сделался. Цену, кажется, давали им настоящую, шесть гривен за пуд – ан нет: "нынче, видишь ты, и во сне таких цен не слыхано"!

– Во сне и всё хорошие цены снятся! Так и не продали?

– Не продали. Все, как есть, в Р*** уехали. Приехали – а там опять мы же. Только уж я там, папенька, по пятидесяти копеечек купил.

– И дело. Вперед наука. Вот десять копеек на пуд убытку понес да задаром тридцать верст проехал. Следственно, в предбудущем, что ему ни дай – возьмет. Однако это, брат, в наших местах новость! Скажи пожалуй, стачку затеяли! Да за стачки-то нынче, знаешь ли, как! Что ж ты исправнику не шепнул!

– Ничего, папенька, покамест еще своими мерами справ-

ляемся-с.

– Ну ладно. И то сказать, окромя нас и покупателей-то солидных здесь нет. Испугать вздумали! нет, брат! ростом не вышли! Бунтовать не позволено!

– Истинный, папенька, бунт был! Просто, как есть, стали все заодно – и шабаш. Вы, говорят, из всего уезда кровь пьете! Даже смешно-с.

– Никогда прежде бунтов не бывало, а нынче, смотри-ка, бунты начались!

– Да какой же это бунт, Осип Иваныч! – вступился я.

– А по-твоему, барин, не бунт! Мне для чего хлеб-то нужен? сам, что ли, экую махину съем! в амбаре, что ли, я гноить его буду? В казну, сударь, в казну я его ставлю! Армию, сударь, хлебом продовольствую! А ну как у меня из-за них, курицыных сынов, хлеба не будет! Помирать, что ли, армии-то! По-твоему это не бунт!

На сей раз Осип Иваныч совершенно явно и довольно нагло говорил мне «ты». Он возмущался так искренно, что даже изменил своему обычному благодущию. Признаюсь откровенно, я и не подумал возразить ему. Соображение, что, по милости мужиков, не соглашающихся взять *настоящую* цену, армия может встретить препятствие в продовольствии, было так решительно и притом так полно современности, что я даже сам испугался, каким образом оно прежде не пришло мне в голову. Конечно, я понимал, что и против такого капитального соображения не невозможны возражения,

но с другой стороны, что может произойти, если вдруг Осипу Иванычу в моем скромно выраженном мнении вздумается заподозрить или «превратное толкование», или наклонность к «распространению вредных идей»! Скажу я, например, что, при неисправности подрядчика, военное ведомство может распорядиться насчет его залогов, а он вдруг растолкует, что я армии и флоты отрицаю, основы потрясаю, авторитетов не признаю! Разве этих примеров не бывало! Разве не обвиняли фабриканты своих рабочих в бунте за то, что они соглашались работать не иначе, как под условием увеличения заработной платы! Поэтому я призвал на помощь возможное при подобных обстоятельствах гражданское мужество и воскликнул:

– Ну, да, армия... конечно! армия! Представьте, я и не подумал!

– А я так денно и нощно об этом думаю! Одна подушка моя знает, сколь много я беспокойств из-за этого переносу! Ну, да ладно. Давали христианскую цену – не взяли, так на предбудущее время и пятидесяти копеек напроситесь. Нет ли еще чего нового?

– Кандауровского барина чуть-чуть не увезли-с.

– Как увезли? куда?

– Неизвестно-с. И за что – никто не знает. Сказывали, эта, будто господин становой писал. Ни с кем будто не знакомится, книжки читает, дома по вечерам сидит...

– Не было ли поступков за ним каких?

– Поступков не было. И становой, сказывают, писал: поступков, говорит, нет, а ни с кем не знакомится, книжки читает... так и ожидали, что увезут! Однако ответ от высшего начальства вышел: дожидаться поступков. Да барин-то сам догадался, что нынче с становым шутка плохая: сел на машину – и айда в Петербург-с!

– Да, строгонько ноне насчет этих чтений стало. Насчет вина свободно, а насчет чтений строго. За ум взялись.

– А разве что-нибудь у вас было? Беспокойства какие-нибудь? – любопытствовал я.

– Мало ли у нас тут сквернословиев было!

– Однако ведь вы сами говорите, что за кандауровским барином никаких поступков не было?

– А кто его знает! Может, он промежду себя революцию пушал. Не по-людски живет! ни с кем хлеба-соли не водит! Кому вдомек, что у него на уме!

– Позвольте, Осип Иваныч! ведь если так рассуждать, то, пожалуй, кандауровский-то барин и хорошо сделал, что в Петербург бежал. Один бежит, другой бежит...

– А коли кто задумал бежать – никто не держит! Слава богу! И окромя довольно народу останется!

Сказавши это, Осип Иваныч опрокинулся на спину и, положив ногу на ногу, левую руку откинул, а правой забарабанил по ручке дивана. Очевидно было, что он собрался прочитать нам предиду, но с таким при этом расчетом, что он будет и разглагольствовать, и на бобах разводить, а мы будем

слушать да поучаться.

— Мы здесь живем в тишине и во всяком благом поспешении, — сказал он солидно, — каждый при своем занятии находится. Я, например, при торговле состою; другой — рукомесло при себе имеет; третий — от земли питается. Что кому свыше определено. Чтений для нас не полагается.

Осип Иваныч умолк на минуту и окинул нас взглядом. Я сидел съезжившись и как бы сознаваясь в какой-то вине; Николай Осипыч, как говорится, ел родителя глазами. Повидимому, это поощрило Дерунова. Он сложил обе руки на животе и глубокомысленно вертел одним большим пальцем вокруг другого.

— Главная причина, — продолжал он, — коли-ежели без пользы читать, так от чтений даже для рассудка не без ущерба бывает. День человек читает, другой читает — смотришь, по времени и мечтать начнет. И возмечтает неявленная и неудобблагоемая. Отобьется от дела, почтение к старшим потеряет, начнет сквернословить. Вот его в ту пору сцарапают, раба божьего, — и на цугундер. Веди себя благородно, не мути, унылости на других не наводи. Так ли по-твоему, сударь?

— Да что ж «по-моему»? Меня ведь не спросят!

— Вот это ты дельное слово сказал. Не спросят — это так. И ни тебя, ни меня, никого не спросят, сами всё, как следует, сделают! А почему тебя не спросят, не хочешь ли знать? А потому, барин, что уши выше лба не растут, а у кого ненаро-

ком и вырастут сверх меры — подрезать маленечко можно!

Видя, что мысли Дерунова принимают унылый и не совсем безопасный оборот, я серьезно обеспокоился. Несмотря на смутную форму его речи, ясно было, что она направлена в мой огород. Как ни робко выражено было мною сомнение насчет правильности наименования бунтовщиками мужиков, не соглашавшихся взять предлагаемую им за хлеб цену, но даже и оно видимо омрачило благодушие старика. Стало быть, кроме благодушия, в нем, с течением времени и под влиянием постоянной удачи в делах, развилась еще и другая черта: претензия на непрерываемость. С минуты на минуту я ждал, что от намеков он перейдет к прямым обвинениям и что я, к ужасу своему, встречу лицом к лицу с вопросом: нужны ли армии или нет? Напрасно буду я заверять, что тут даже вопроса не может быть, — моего ответа не захотят понять и даже не выслушают, а будут с настойчивостью, достойною лучшей участи, приставать: "Нет, ты не отлынивай! ты говори прямо: нужны ли армии или нет?" И если я, наконец, от всей души, от всего моего помышления возопию: "Нужны!" и, в подтверждение искренности моих слов, потребую шампанского, чтоб провозгласить тост за процветание армий и флотов, то и тогда удостоюсь только иронической похвалы, вроде: "ну, брат, ловкий ты парень!" или: "знает кошка, чье мясо съела!" и т. д.

Поэтому, в отвращение дальнейших бедствий, я воспользовался первою паузой, чтоб переменить разговор.

– Вы давно не бывали в Чемезове? – обратился я к Николаю Осипычу.

– Сегодня только проезжал. Следом за мной и старик Лукьяныч за вами приехал. В гостинице кормить остановился.

– Ну, вот и прекрасно. Стало быть, я и поеду.

– Постой! погоди! как же насчет земли-то! берешь, что ли, пять тысяч? – остановил меня Осип Иваныч и, обращаясь к сыну, прибавил: – Вот, занадельную землю у барина покупаю, пять тысяч надавал.

– Пять тысяч-с! – удивился Николай Осипыч.

– Много денег, сам знаю, что много! Ради родителей выволить барина хотел, как еще маленьким человеком будучи, ласку от них видел!

– Берите-с! – обратился ко мне Николай Осипыч, как будто даже со страхом, – этакая цена! да за такую цену обеими руками ухватиться надобно!

– И я то же говорю, а барин вот ломается.

– Не ломаюсь, а осмотреться желаю. Надеюсь, что имею на это право!

– Кто об твоих правах говорит! Любуйся! смотри! А главная причина: никому твоя земля не нужна, следственно, смотри на нее или не смотри – краше она от того не будет. А другая причина: деньги у меня в столе лежат, готовы. И в Чемезово ехать не нужно. Взял, получил – и кати без хлопот обратно в Питер!

Но я встал и решительно начал откланиваться.

– Стало быть, ты и хлеба-соли моей отведать не хочешь! Ну, барин, не ждал я! А родители-то! родители-то, какие у тебя были!

Осип Иваныч тоже встал с дивана и по всем правилам гостеприимства взял мою руку и обеими руками крепко сжал ее. Но в то же время он не то печально, не то укоризненно покачивал головой, как бы говоря: "Какие были родители и какие вышли дети!"

– Да не обидел ли я тебя тем, что насчет чтений-то просто сказал? – продолжал он, стараясь сообщить своему голосу особенно простодушный тон, – так ведь у нас, стариков, уж обычай такой: не все по головке гладим, а иной раз и против шерсти причесать вздумаем! Не погневайся!

– Полноте! Мне и в голову не приходило, что ваши слова могли относиться ко мне!

– К тебе не к тебе, а ты тоже на ус мотай! От стариков-то не отворачивайся. Ежели когда и поучат, тебя жалеючи, – ни сколько тебе убытку от этого и будет! Кандауровский-то барин недалеко от твоей вотчины жил! Так-то!

Мы простились довольно холодно, хотя Дерунов соблюл весь заведенный в подобных случаях этикет. Жал мне руки и в это время смотрел в глаза, откинувшись всем корпусом назад, как будто не мог на меня наглядеться, проводил до самого крыльца и на прощанье сказал:

– Забеги, как из Чемезова в обратный поедешь! И с крестьянами коли насчёт земли не поладишь – только слово

шепни – Дерунов купит! Только что уж в ту пору я пяти тысяч не дам! Ау, брат! Ты с первого слова не взял, а я со второго слова – не дам!

* * *

Лукияныч выехал за мной в одноколке, на одной лошади. На вопрос, неужто не нашлось попросторнее экипажа, старик ответил, что экипажей много, да в лом их лучше отдать, а лошадь одна только и осталась, прочие же «кои пали, а кои так изничтожились».

– Ну, брат, не красиво же у вас там! – вздохнул я.

– Какая красота! Был, было, дворянин, да черт переменял! Вот полюбуется на усадьбу-то!

В Лукияныче олицетворялась вся история Чемезова. Он был охранителем его во времена помещичьего благоденствия, и он же охранял его и теперь, когда Чемезово сделалось, по его словам, таким местом, где, "куда ни плюнь, все на пусто попадешь". Не раз писывал он мне письма, в которых изображал упадок родного гнезда, но, наконец, убедившись в моем равнодушии, прекратил всякое настояние. С немногими оставшимися в живых стариками и старухами, из бывших дворовых, ютился он в подвальном этаже барского дома, получая ничтожное содержание из доходов, собираемых с кой-каких сенных покосов, и, не без тайного ропота на мое легкомыслие, взирал, как разрушение постепенно кла-

ло свою руку на все окружающее. Упала оранжерея, вымерз грунтовой сарай, загдох сад, перевелся скот, лошади выставили свои лета и падали. Потом сначала в одной из комнат дома грохнулся потолок, за нею в другой комнате... Птицы и град повыбили из окон стекла, крыша проржавела и дала течь. Долгое время, кое-как, своими средствами, замазывали и законопачивали, но когда наконец из всех щелей вдруг полилось и посыпалось – бросили и заботились только о том, как бы сохранить от разрушения нижний этаж, в котором жили старики-дворовые. Вот зрелище, которое ожидало меня впереди и от присутствия при котором я охотно бы отказался, если б в последнее время меня с особенною настойчивостью не начала преследовать мысль, что надо, во что бы то ни стало, покончить...

И вот я ехал «кончать». С чем кончать, как кончать – я сам хорошенько не знал, но знал наверное, что тем или другим способом я «кончу», то есть уеду отсюда свободный от Чемезова. Куда-нибудь! Как-нибудь! во что бы ни стало! – вот единственная мысль, которая работала во мне и которая еще более укрепилась после свидания с Деруновым. Должно быть, и Лукьяныч угадал эту мысль, потому что лицо его, на минуту просветлевшее при свидании со мною, вдруг нахмурилось под влиянием недоброго предчувствия. С старческой медленностью, беспрестанно вздыхая, закладывал он лохматого мерина в убогую одноколку, и, быть может, в это время в его воображении особенно ярко рисовалась сравнитель-

ная картина прежнего помещичьего приволья и теперешнего убожества. Покуда меня не было налицо, он мог и роптать, и сожалеть, и даже сравнивать, но ясного понимания положения вещей у него все-таки не было. Теперь перед ним стоял сам «барин» – и вот к услугам этого «барина» готова не рессорная коляска, запряженная четверней караковых жеребцов, с молодцом-кучером в шелковой рубашке на козлах, а ободранная одноколка, с хромым мерином, который от старости едва волочил ноги, и с ним, Лукьянычем, поседевшим, сгорбившимся, одетым в какой-то неслыханный трапез! Лукьяныч вдруг, в одну минуту, понял. «Барин», одноколка, дом без потолков, усадьба без оранжерей, сад без дорожек – все это ярко сопоставилось в его старческой голове. И затем, словно искра, засветилась мысль: "Да, надо кончать!" То есть та самая мысль, до которой иным, более сложным и болезненным процессом, додумался и я...

Мы сели рядом, кое-как скрючились и поехали.

Долго мы ехали большою дорогой и не заводили разговора. Мне все мерещился "кандауровский барин". "Чуть-чуть не увезли!" – как просто и естественно вылилась эта фраза из уст Николая Осипыча! Ни страха, ни сожаления, ни даже изумления. Как будто речь шла о поросенке, которого *чуть-чуть* не задавили дорогой!

За что? по какому резону? что случилось? – никому не известно! Известно только, что "в гости не ходил" и "книжки читал"...

Но, может быть, он дома один на один в потолок плевал? Может быть, он "Собранием иностранных романов" зачитывался? Неужто и это зазорно? Неужто и это занятие настолько подозрительно, что даже и ему нельзя предаваться в тишине, но должно производить публично, в виду всех?

И кто же этот сердцеведец, который счел своею обязанностью проникнуть в душу "кандауровского барина" и обличить ее тайные помыслы? – Увы! это становой пристав, это бывший куроед, а теперешний эксперт по части благонадежности или неблагонадежности обывательских убеждений!

Вот мы, жители столиц, часто на начальство ропщем. Говорим: "Стесняет, прав не дает". Нет, съездите-ка в деревню да у станового под началом поживите!

Что было бы с "кандауровским барином", если б начальство не написало: "дожидаться поступков"! Что случилось бы с ним, если б судьба его зависела единственно от усмотрения сердцеведца-станового!

Становой! какая метаморфоза, если посравнить с добрым старым временем!

Я помню, смотрит, бывало, папенька в окошко и говорит: "Вот пьяницу-станового везут". Приедет ли становой к помещику по делам – первое ему приветствие: "Что, пьяница! видно, кур по уезду собирать ездись!" Заикнется ли становой насчет починки мостов – ответ: "Кроме тебя, ездить здесь некому, а для тебя, пьяницы, и эти мосты – таковские". Словом сказать, кроме «пьяницы» да «куроеда», и слов ему ни-

каких нет!

Я знаю, что такую манеру обращаться с агентом полицейской власти похвалить нельзя; но согласитесь, однако ж, что и метаморфоза чересчур уж резка. Все был «куроед», и вдруг — сердцевед!

В прежние времена говаривали: "Тайные помышления бог судит, ибо он один в совершенстве видит сокровенную человеческую мысль..." Нынче все так упростилось, что даже становой, нимало не робея, говорит себе: "А дай-ка и я понюхаю, чем в человеческой душе пахнет!" И нюхает.

Я сижу дома и, запершись от людей, Поль де Кока читаю, а становой уже нечто насчет "превратных толкований" умозаключил! Не по случаю Поль де Кока умозаключил (в этом смысле он так образован, что даже Баркова наизусть знает), а по случаю моей любви к уединению. Он думает: "Зачем я уединяюсь, когда прочие въявь все срамоты производят?" И вот он начинает сослежать меня. Я держу у себя Гришку-лакея, думаю, что живу за ним, как за каменной стеной, а он уж и Гришку развратил и потихоньку его выпросил, что и как, почтителен ли я к начальству, не затеваю ли революций и т. п. Он даже не ждет с моей стороны «поступков», а просто, на основании Тришкиных показаний, проникает в тайники моей души и одним почерком пера производит меня или в звание "столпа и опоры", или в звание "опасного и беспокойного человека", смотря по тому, как бог ему на душу положит! Это бывший-то куроед!

Куроед, совместивший в своем одном лице всю академию нравственных и политических наук! Куроед-сердцевед, куроед-психолог, куроед-политикан! Куроед, принимающий на себя расценку обывательских убеждений и с самым невозмутимым видом одним выдающий аттестат благонадежности, а другим – аттестат неблагонадежности!

Ужели же и впрямь нет другого дела для куроедов!

Очевидно, тут есть недоразумение, в существования которого много виноват т – ский исправник. Он призвал к себе подведомственных ему куроедов и сказал им: "Вы отвечаете мне, что в ваших участках тихо будет!" Но при этом не разъяснил, что читать книжки, не ходить в гости и вообще вести уединенную жизнь – вовсе не противоречит общепринятому понятию о "тишине".

И вот куроеды взбаламутились и с помощью Гришек, Прошек и Ванек начинают орудовать. Не простой тишины они ищут, а тишины прозрачной, обитающей в открытом со всех сторон помещении. Везде, даже в самой несомненной тишине, они видят или нарушение тишины, или подстрекательство к таковому нарушению.

Еще на днях один становой-щеголь мне говорил: "По-настоящему, нас не становыми приставами, а начальниками станов называть бы надо, потому что я, например, за весь свой стан отвечаю: чуть ежели кто ненадежен или в мыслях нетверд – сейчас же к сведению должен дать знать!" Взглянул я на него – во всех статьях куроед! И глаза врозь, и руки

растопырил, словно курицу поймать хочет, и носом воздух нюхает. Только вот мундир – мундир, это точно, что ловко сидит! У прежних куроедов таких мундирчиков не бывало!

И этот-то щеголь судит "моя тайная и сокровенная", судит, потому что я живу у него в стану, а он "за весь стан отвечает". Он залезает в мою душу и барахтается в ней на всей своей воле!

А "кандауровский барин" между тем плюет себе в потолок и думает, что это ему пройдет даром. Как бы не так! Еще счастлив твой бог, что начальство за тебя заступилось, "поступков ожидать" велело, а то быть бы бычку на веревочке! Да и тут ты не совсем отобоярился, а вынужден был в Петербург удирать! Ты надеялся всю жизнь в Кандауровке, в халате и в туфлях, изжить, ни одного потолка неисплеванным не оставить – ан нет! Одевайся, обувайся, надевай сапоги и кати, неведомо зачем, в Петербург!

Какие жестокие времена!

Да и один ли становой! один ли исправник! Вон Дерунов и партикулярный человек, которому ничего ни от кого не поручено, а попробуй поговори-ка с ним по душе! Ничего-то он в психологии не смыслит, а ежели нужно, право, не хуже любого доктора философии всю твою душу по ниточке разбирает!

Проста наша психология! ах, как проста! Только одно слово от себя прилги или скрой одно слово – и вся человеческая подноготная словно на ладони! Вот, например, я давеча на-

счет бунтов говорил, что нельзя назвать бунтовщиками крестьян за то только, что они хлеб по шести гривен отдать не соглашались! Прибавь Дерунов от себя только десять следующих слов: "и при сем, якобы армий совсем не нужно, говорил" – и дело в шляпе. Я знаю, меня не казнят даже и за это, но знаю также, что ни в Навозном, ни в Соломенном мне не будет житья. Удирай! беги во все лопатки в Петербург, чтобы там, на глазах у начальства, невинную свою душу спасти!

Я удивляюсь даже, что Деруновы до такой степени скромны и сдержанны. Имей я их взгляды на бунты и те удобства, которыми они пользуются для проведения этих взглядов, я всякого бы человека, который мне нагрубил или просто не понравился, со свету бы сжил. Писал бы да пописывал: "И при сем, якобы армий совсем не нужно, говорил!" И наверное получил бы удовлетворение...

Какой необыкновенный мир – этот мир Деруновых! как все в нем перепутано, скомкано, захламощено всякого рода противоречивыми примесями! Как все колеблется и проваливается, словно половицы в парадных комнатах старого чезовского дома, в которых даже крысы отказались жить!

Имеет ли, например, Осип Иванович право называться столпом? Или же, напротив того, он принадлежит к числу самых злых и отъявленных отрицателей собственности, семейного союза и других основ? Бьюсь об заклад, что никакой мудрец не даст на эти вопросы сколько-нибудь положительных ответов.

Что он всем своим нутром рьяный и упорный поборник всевозможных союзов — в этом я, конечно, не сомневаюсь. Это доказывается одним тем, что он богат (следовательно, чтит "собственность"), что он держит в порядке семью (следовательно, чтит "семейный союз"), что он, из уважения "к вышнему начальству", жертвует на "общепольное устройство" (следовательно, чтит союз государственный). Но понимает ли он сам, что он «поборник»? Не говорит ли в этом случае одно его нутро, которое влечёт его быть «радетелем» и «защитником» без всякого участия в том его сознания?

Вот этого-то я именно и не могу себе объяснить.

Ведь сам же он, и даже не без самодовольства, говорил давеча, что по всему округу сеть разостлал? Стало быть, он кого-нибудь в эту сеть ловит? кого ловит? не таких ли же представителей принципа собственности, как и он сам? Воля ваша, а есть тут нечто сомнительное!

Когда давеча Николай Осипыч рассказывал, как он ловко мужичков окружил, как он и в С., и в Р. сеть закинул и довел людей до того, что хоть задаром хлеб отдавай, — разве Осип Иваныч вознегодовал на него? разве он сказал ему: "Бездельник! помни, что мужику точно так же дорога его собственность, как и тебе твоя!"? Нет, он даже похвалил сына, он назвал мужиков бунтовщиками и накричал с три короба о вреде стачек, отнюдь, по-видимому, не подозревая, что «стачку», собственно говоря, производил он один.

Или, наконец, насчет меня. С каким злорадством доказы-

вал он мне, что я ничего из Чемезова не извлеку и что нет для меня другого выхода, кроме как прибегнуть к нему, Дерунову, и порешить это дело на всей его воле! Предположим, что он прав; допустим, что я действительно не способен к «извлечениям» и, в конце концов, должен буду признать в Дерунове того суженого, которого, по пословице, конем не объедешь. Но разве он имел бы право поступать со мною так, как он поступил, если б был действительный и сознательный поборник принципа собственности? Не обязан ли он был утешить меня, наставить, укрепить? Не обязан ли был представить мне самый подробный и самый истинный расчет, ничего не утаивая и даже обещая, что буде со временем и еще найдутся какие-нибудь лишки, то и они пойдут не к нему, а ко мне в карман?

Нет, как хотите, а с точки зрения собственности – он не "столп"!

И кто же знает, столп ли он по части союзов семейного и государственного? Может быть, в государственном союзе он усматривает одни медали, которыми уснащена его грудь? Может быть, в союзе семейном...

Но здесь нить моих размышлений порвалась, и я, несмотря на неловкое положение тела, заснул настолько глубоко и сладко, что даже увидел сон.

Виделся мне становой пристав. Окончил будто бы он курс наук и даже получил в Геттингенском университете диплом на доктора философии. Сидит будто этот испытанный пси-

холог и пишет:

"Проявился в моем стане купец 1-й гильдии Осип Иванов Дерунов, который собственности не чтит и в действиях своих по сему предмету представляется не без опасности. Искусственными мерами понижает он на базарах цену на хлеб и тем вынуждает местных крестьян сбывать свои продукты за бесценок. И даже на днях, встретив чemezовского помещика (имярек), наглыми и бесстыжими способами вынуждал оно-го продать ему свое имение за самую ничтожную цену.

А потому благоволит вышнее начальство одного Дерунова из подведомственного мне стана извлечь и поступить с ним по законам, водворив в места более отдаленные и безопасные".

– Знатно, сударь, уснули! – приветствовал меня Лукьяныч, когда я, при первом сильном толчке одноколки, очнулся, – даже кричали во сне. Крикнете: "Вор!" – и опять уснете!

Я чувствую, что сейчас завяжется разговор, что Лукьяныч горит нетерпением что-то спросить, но только не знает, как приступить к делу. Мы едем молча еще с добрую версту по мостовнику: я истребляю папиросу за папиросою, Лукьяныч исподлобья взглядывает на меня.

– Кончать приехали? – наконец произносит он.

– Да надо бы... всему есть конец, Лукьяныч!

– Это так точно. (Лукьяныч нервно передергивает вожжами.) У Осипа Иванова побывали?

– Был.

– Покупает, значит?

– Надавал пять тысяч.

– Ловок, толстобрюхой!

Молчание.

– Конечно, – вновь начинает Лукьяныч, – многие нынче так-то говорят: пропади, мол, оно пропадом!

Опять молчание.

– Как же быть-то, Лукьяныч?

– Вот и я это самое говорю: ничего не поделаешь! пропади, мол, оно пропадом!

Опять молчание.

– Прежде люди по местам сидели. Нынче все, ровно жида, разбежались.

– Согласись, однако ж, что мне здесь делать нечего.

– Папенька с маменькой нашли бы, что делать. А вам что!

Пропади оно пропадом – и делу конец!

– Заладил одно! Ты бы лучше сказал, подходящую ли цену дает Дерунов?

– Стало быть, для него подходящая, коли дает!

– Да для меня-то? для меня-то подходящая ли?

– И для вас, коли-ежели...

– Не лучше ли крестьянам предложить?

– Что ж, и крестьянам... тоже с удовольствием...

– Вот Дерунов говорит, что крестьянам-то подати впору платить!

– Знает, толстобрюхой!

В этом роде мы еще с четверть часа поговорили, и все настоящего разговора у нас не было. Ничего не поймешь. Хороша ли цена Дерунова? — "знамо хороша, коли сам дает". Выстоят ли крестьяне, если им землю продать? — "знамо, выстоят, а може, и не придется выстоять, коли-ежели..."

— Слушай! ты что такое говоришь!

— Что говорю! знамо, мы рабы, и слова у нас рабские.

— Я тебя об деле спрашиваю, а ты меня или дразнишь, или говорить не хочешь!

— Об чем говорить, коли вы сами никакого дела не открываете!

— Я кончать хочу! Понимаешь, хочу кончать!

— И кончать тоже с умом надо. Сами в глаза своего дела не видели, а кругом пальца обернуть его хотите. Ни с мужиками разговору не имели, ни какова такова земля у вас есть — не знаете. Сколько лет терпели, а теперь в две минуты конец хотите сделать!

В самом деле, ведь я ничего не знаю. Ни земли не знаю, ни "своего дела". Странно, как это соображение ни разу не пришло мне в голову. В течение многих лет одно у меня было в мыслях: кончить. И вот, наскучив быть столько времени под гнетом одного и того же вопроса, я сел в одно прекрасное утро в вагон и помчался в Т***, никак не предполагая, что «конец» есть нечто сложное, требующее осмотра, покупателей, разговоров, запрашиваний, хлопаний по рукам и т. п. Оказывается, однако ж, что в мире ничто не

делается спустя рукава и что если б я захотел даже, в видах сокращения переписки, покончить самым безвыгодным для меня образом, то и тут мне предстояло бесчисленное множество всякого рода формальностей. Как бы, вместо "конца"-то, не прийти к самому ужаснейшему из всех «начал»: к началу целого ряда процессов, которые могут отравить всю жизнь? При этой мысли мне сделалось так скверно, что даже померещилось: не лучше ли бросить? то есть оставить все по-прежнему и воротиться назад?

Во всяком случае, я решился до времени не докучать Лукьянычу разговорами о «конце» и свел речь на Дерунова.

– А ходко пошел Осип Иванов!

– Голова на плечах есть! Оттого!

– Крестьян, говорят, шибко притесняет?

– Чем притесняет? нынче – воля!

– Чудак! разве вольного человека нельзя притеснить?

– Засилие взял, а потому и окружил кругом. На какой базар ни сунься – везде от него приказчики. Какое слово скажут, так тому и быть!

– Повезло ему! Богат, у всех в почтении, в семье счастлив!

– В двух семьях...

– Как в двух! неужто у него и на стороне семья есть?

– Не на стороне, а в своем доме. Анну-то Ивановну он нынче отставил, у сына, у Яшеньки, жену отнял!

Признаюсь, это известие меня озадачило. Как! этот благолепный старик, который праздника в праздник не вменяет,

ежели двух обеден не отстоит, который еще давеча говорил, что свою Анну Ивановну ни на какую принцессу не променяет... снохач!!

– Да не врут ли, Лукьяныч? Сказывают, Яшенька-то ведь у него непутный!

– Запивает, известно!

– Ну, видишь ли!

– С этого самого и запил, что сраму стерпеть не мог!

Кончено. С невыносимую болью в сердце я должен был сказать себе: Дерунов – не столп! Он не столп относительно собственности, ибо признает священную только лично ему принадлежащую собственность. Он не столп относительно семейного союза, ибо снохач. Наконец, он не *может* быть столпом относительно союза государственного, ибо не знает даже географических границ русского государства...

Но где же искать «столпов», если даже Осип Иваныч не столп?

КАНДИДАТ В СТОЛПЫ

Какая, однако ж, загадочная, запутанная среда! Какие жестокие, неумолимые нравы! До какой поразительной простоты форм доведен здесь закон борьбы за существование! Горе «дуракам»! Горе простецам, кои «с суконным рылом» суются в калашный ряд чай пить! Горе «карасям», дремлющим в неведении, что провиденциальное их назначение заключается в том, чтоб служить кормом для щук, наполняющих омут жизненных основ!

Все это я и прежде очень хорошо знал. Я знал и то, что "дураков учить надо", и то, что "с суконным рылом" в калашный ряд соваться не следует, и то, что "на то в море щука, чтобы карась не дремал". Словом сказать, все изречения, в которых, как в неприступной крепости, заключалась наша столповая, безапелляционная мудрость. Мало того, что я *знал*: при одном виде избранников этой мудрости я всегда чувствовал инстинктивную оторопь.

Мне казалось, что эти люди во всякое время готовы растерзать меня на клочки. Не за то растерзать, что я в чем-нибудь виноват, а за то, что я или "рот разинул", или "слюни распустил". Начавши жизненную карьеру с процесса простого, так сказать, нетенденциозного «отнятия», они постепенно приходят в восторженное состояние и возвышаются до ненависти. Им мало отнять у «разини», им нужно сокра-

тить «разиню», чтоб она не болталась по белу свету, не обременяла понапрасну землю. Ненависть к «дураку» возводится почти на степень политического и социального принципа.

Как тут жить?!

Но я живу и, следовательно, волею и неволею делаюсь причастником жизненного процесса. В сущности, этот процесс даже для «разини» не представляет ничего головокружительного. Наравне со всеми прочими, я могу и купить, и продать, и объявить войну, и заключить мир. Купить так купить, продать так продать, говорю я себе, и мне даже в голову не приходит, что нужно принадлежать к числу семи мудрецов, чтобы сладить с подобными бросовыми операциями. Но когда наступает момент «ладить» – вот тут-то именно я и начинаю путаться. Мне делается неловко, почти совестно. Мне начинает казаться, что на меня со всех сторон устремлены подозрительные взоры, что в голове человека, с которым я имею дело, сама собою созревает мысль: "А ведь он меня хочет надуть!" И кто же может поручиться, что и в моей голове не зреет та же мысль? не думаю ли и я с своей стороны: "А ведь он меня хочет надуть!"

Это чувство обоюдной подозрительности до того противно, что я немедленно начинаю ощущать странную потребность освободиться от него. И потому на практике я почти всегда действую "без ума", то есть – спешу. Когда я продаю, то мои действия сами собою принимают такой характер, как будто покупатель делает мне благодеяние и выручает меня из

неслыханного затруднения. Когда я покупаю и продавец, по осмотре предмета покупки, начинает уверять меня, что все виденное мною ничто в сравнении с тем, что я, с божьей помощью, впереди увижу, то я не только не вступаю с ним в спор, не только не уличаю его во лжи, но, напротив того, начинаю восклицать: "Да помилуйте! да неужели же я не понимаю!" и т. д. Когда я объявляю войну, то каким-то образом всегда так устроивается, что я нахожу своего противника вооруженным прекраснейшим шасспо, а сам нападаю на него с кремневым ружьем, у которого, вдобавок, вместо кремня вставлена крашенная под кремень чурочка. Когда заключаю мир, то говорю: возьми всё — и отстань!

Но что всего удивительнее: я не только не питаю никакой ненависти к этим людям, но даже скорее склонен оправдывать их. Так что если б я был присяжным заседателем и мне, в этом качестве, пришлось бы судить различные случаи «отнятия» и "устранения из жизни", то я положительно убежден, что и тут поступил бы как «разиня», "слюнй" и «дурак». Каким образом занести руку на вора, когда сама народная мудрость сочинила пословицу о карасе, которому не полагается дремать? каким образом обрушиться на нарушителя семейного союза, когда мне достоверно известно, что "чуждых удовольствий любопытство" (так определяет прелюбодеяние «Письмовник» Курганова) представляет одну из утонченнейших форм новейшего общежития? Вот почему я совсем неспособен быть судьей. Я не могу ни карать, ни ми-

ловать; я могу только бояться...

Увы! я не англосакс, а славянин. Славянин с головы до ног, славянин до мозга костей. Историки удостоверяют, что славяне исстари славились гостеприимством, – вот это-то именно качество и преобладает во мне. Я люблю всякого странника угостить, со всяким встречным по душе покалякать. И ежели под видом странника вдруг окажется разбойник, то я и тут не смущусь: возьми все – и отстань. Я даже не попытаюсь оборониться от него, потому что ведь, в сущности, все равно, как обездолит меня странник: приставши ли с ножом к горлу или разговаривая по душе. Пусть только он спрячет свой нож, пусть объедает и опивает меня по душе! Греха меньше.

Говоря по правде, меня и «учили» не раз, да и опытностью житейскую судьба не обделила меня. Я многое испытал, еще больше видел и даже – о, странная игра природы! – ничего из виденного и испытанного не позабыл...

Но все это прошло мимо, словно скользнуло по мне. Как будто я видел во сне какое-то фантастическое представление, над которым и плакать и хохотать хочется...

Я помню, как пришла мне однажды в голову мысль: "Куплю я себе подмосковную!" Зачем Чemezово? Что такое Чemezово? Чemezово – глушь, болотина, трясина! В Чemezове с голоду помрешь! В Чemezово никто покалякать по душе не заедет! То ли дело «подмосковная»! И вот, вместо того чтоб "с умом" повести дело, я, по обыкновению, начал спе-

шить, а меня, тоже по обыкновению, начали «объегоривать». Какие-то благочестивые мерзавцы явились: вздыхают, богу молятся – и объегоривают! Чужой лес показывают и тут же, смеючись, говорят: "Да вы бы, сударь, с планом проверили! ведь это дело не шуточное: на ве-ек!" А я-то так и надрываюсь: "Да что вы! да помилуйте! да неужто ж вы предполагаете! да я! да вы!" и т. д. И что же в результате вышло? Вышло, что я до сего дня на проданный мне лес люблюсь, но войти в него не могу: чужой!

Памятны мне "крепостные дела" в московской гражданской палате. Выходишь, бывало, сначала под навес какой-то, оттуда в темные сени с каменными сводами и с кирпичным, выбитым просительскими ногами полом, нащупаешь дверь, пропитанную потом просительских рук, и очутишься в узком коридоре. Коридор светлый, потому что идет вдоль наружной стены с окнами; но по правую сторону он ограничен решетчатой перегородкой, за которою виднеется пространство, наполненное сумерками. Там, в этих сумерках, словно в громадной звериной клетке, кружатся служители купли и продажи и словно затевают какую-то исполинскую стряпню. Осипшие с похмелья голоса что-то бормочут, дрожащие руки что-то скребут. Здесь, по манию этих зверообразных людей, получает принцип собственности свою санкцию! здесь с восхода до заката солнечного поются ему немолчные гимны! здесь стригут и бреют и кровь отворяют! Здесь, за этой решеткой. А по сю сторону перегородки, прислонив-

шлись к замасленному карнизу ее, стоят люди кабальные, подневольные, люди, обуреваемые жадой стяжания, стоят и в безысходной тоске внемлют гимну собственности, который вопиет из всех стен этого мрачного здания! И в каждом из этих кабальных людей, словно нарыв, назревает мучительная мысль: вот сейчас! сейчас налетит "подвох"! – сейчас разверзнется под ногами трапп... хлоп! И начнут тебя свежевать! вот эти самые немытые, нечесанные, вонючие служители купли и продажи! Свежевать и приговаривать: "Не суйся, дурак, с суконным рылом в калашный ряд чай пить! забыл, дурак, что на то щука в море, чтобы карась не дремал! Дурак!"

Помню я и уездный суд. Помню судью, лихого малого, который никогда не затруднялся "для своего брата дворянина одолжение сделать", но всегда как-то так устроивал, что, вместо одолжения, выходила пакость. Помню секретаря, у которого щека была насквозь прогрызена фистулою и весь организм поражен трясением и который, за всем тем, всем своим естеством, казалось, говорил: "Погоди, уж я завяжу тебе узелочек на память, и будешь ты всю жизнь его развязывать!" Помню весь этот кагал, у которого, начиная со сторожа, никаких других слов на языке не было, кроме: урвать, облапошить, объегорить, пустить по миру...

Помню тетушек, сестриц, дяденек, братцев, постоянно ведущих между собою какую-то бесконечную тяжбу, подличавших перед всевозможными секретарями, столоначальни-

ками, писцами, открывавших перед ними всю срамную подноготную своего домашнего очага, не отступавших ни перед лестью, ни перед сплетней, ни перед клеветой...

— Беспременно эта расписка фальшивая! — восклицала одна тетенька.

— Беспременно он столоначальника перекупил! — восклицала другая тетенька.

— Уж это как свят бог, что они его дурманом опоили! — вопияла сестрица.

И так далее, то есть целый ряд возгласов, в которых так и сыпались, словно жемчуг бурмицкий, слова: "Подкупил, надул, опоил" и проч.

Надеюсь, что это школа хорошая и вполне достаточная, чтобы из самого несомненного «ротозея» сделать осторожного и опытного практика. Но повторяю: ни опыт, ни годы не вразумили меня. Я знаю, я помню — и ничего больше. И теперь, как всегда, я остаюсь при своем славянском гостеприимстве и ничего другого не понимаю, кроме разговора по душе... со всяким встречным, не исключая даже человека, который вот-вот сейчас начнет меня «облапошивать». И теперь, как всегда, я «спешу», то есть смотрю на своего покупателя и своего продавца, как на избавителей, без помощи которых я наверное погряз бы в беде... Возьми всё — и отстань!

Говорят, что теперь ничего этого уже нет. Нет ни уездных садов, ни гражданских палат, ни решеток, за которыми сидят

"крепостные дела". Конечно, это факт утешительный, но я должен сознаться, что даже и от него не много прибавилось во мне куражу. Я все-таки боюсь, и всякий раз, как приходится проходить мимо конторы нотариуса, мне кажется, что у него на вывеске все еще стоит прежнее: "Здесь стригут, бреют и кровь отворяют". Что здесь меня в чем угодно могут уверить и разуверить. Что здесь меня могут заставить совершить такой акт, которого ни один человек в мире не имеет права совершить. Что здесь мне несовершеннолетнего выдадут за совершеннолетнего, каторжника за столпа, глухонемого за витию, явного прелюбодея за ревнителя семейных добродетелей. И в заключение скажут: "что же делать, милостивый государь! это косвенный налог на ваше невежество!" И даже потребуют, чтоб я этим объяснением утешился.

Какая загадочная, запутанная среда! И какое жалкое положение «дурака» среди этих тоже не умных, но несомненно сноровистых и хищных людей!

На этот раз, однако ж, ввиду предстоявшего мне «конца», я твердо решился окаменеть и устранить всякую мысль о славянском гостеприимстве. "Пора наконец и за ум взяться!" – сказал я себе и приступил к делу с мыслью ни на йоту не отступать от этой решимости. Старик Лукьяныч тоже, по-видимому, убедился, что «конец» неизбежен и что отдалять его – значит только бесполезно поддерживать тревожное чувство, всецело овладевшее мною. Поэтому он впал в какую-то суетливую деятельность, в одно и то же время зна-

комя меня с положением моего имения и разведывая под рукой, не навернется ли где подходящего покупателя.

Я кое-как устроился в одной из комнат гостиного флигеля, которая не представляла еще большой опасности. Первые дни были посвящены осмотрам. Дерунов был прав: громадный барский дом стоял без окон, словно старый инвалид без глаз. Стены почернели, красная краска на железной крыше частью выгорела, частью пестрила ее безобразными пятнами; крыльцо обвалилось, внутри дома – пол колебался, потолки частью обрушились, частью угрожали обрушением. Но расхищения не было, и Дерунов положительно прилгал, говоря, что даже кирпич из печей растаскан.

– Тут одного гвоздя сколько! – восторгался Лукьяныч, бесстрашно водя меня по опустелым комнатам. – Кирпичу, изразцу, заслонок – страсть! Опять же и дерево! только нижние венцы подгнили да балки поперечные сопрели, а прочее – хоть опять сейчас в дело! Сейчас взял, балки переменял, верхнюю половину дома вывесил, нижние венцы подрубил – и опять ему веку не будет, дому-то!

Осмотревши дом, перешли к оранжереям, скотному и конному дворам, флигелям, людским, застольным... Все было ветхо, все покровилось и накренилось, везде пахло опальной затхлостью, но гвоздя везде было пропасть. Сад заглох, дорожек не было и помина, но березы, тополи и липы разрослись так роскошно, что мне самому стало как-то не по себе, когда я подумал, что, быть может, через месяц или через

два, придет сюда деруновский приказчик, и по манию его ляжет, посеченная топором, вся эта великолепная растительность. И эти отливающие серебром тополи, и эти благоухающие липы, и эти стройные, до самой верхушки обнаженные от сучьев березы, неслышно помавающие в вышине своими всключенными, чуть видными вершинами... Еще месяц – и старый чemezовский сад будет представлять собою ровное место, усеянное пеньками и загроможденное полсаженками дров, готовых к отправлению на фабрику. Казалось, вся эта заглохшая, одичалая чаща в один голос говорила мне: "вырастили! выхолили!" и вот пришел «скупающий» человек, которому неизвестно почему, неизвестно что надоело, пришел, черкнул какое-то дурацкое слово – и разом уничтожил весь этот процесс ращения и холения!

– Ишь какой вырос! – говорил между тем Лукьяныч, – вот недели через две зацветут липы, пойдет, это, дух – и не выйдешь отсюда! Грибов сколько – всё белые! Орешник вон в том углу засел – и не додерешься! Малина, ежевика...

В тоне голоса Лукьяныча слышалось обольщение. Меня самого так и подмывало, так и рвалось с языка: "А что, брат, коли-ежели" и т. д. Но, вспомнив, что если однажды я встану на почву разговора по душе, то все мои намерения и предположения относительно «конца» разлетятся, как дым, – я промолчал.

– Ежели даже теперича срубить их, парки-то, – продолжал Лукьяныч, – так от одного молодятника через десять лет но-

вые парки вырастут! Вон она липка-то – робёнок еще! Купят, начнут кругом большие деревья рубить – и ее тут же зря замнут. Потому, у него, у купца-то, ни бережи, ни жаления: он взял деньги и прочь пошел... хоть бы тот же Осип Иванов! А сруби теперича эти самые парки настоящий хозяин, да сруби жалеючи – в десять лет эта липка так выхолится, что и не узнаешь ее!

Обольщение шло *crescendo*,²² я чувствовал себя, так сказать, на краю пропасти, но все еще оставался неколебим.

– Опять ежели теперича самим рубить начать, – вновь начал Лукьяныч, – из каждой березы верно полсаженок выйдет. Ишь какая стеколистая выросла – и вершины-то не видеть! А под парками-то восемь десятин – одних дров полторы тыщи сажений выпилить можно! А молодятник сам по себе! Молодятник еще лучше после вырубки пойдет! Через десять лет и не узнаешь, что тут рубка была!

– А что, коли-ежели... – невольно сорвалось у меня с языка.

Однако бог спас, и я успел остановиться вовремя.

– Коли-ежели этот парк Дерунову в руки, – поправился я, – ведь он тут кучу деньжищ загребет!

– И Дерунов загребет, и другой загребет. Главная причина: у кого голова на плечах состоит, тот и загребет. Да парки что! Вот ужо запряжем мерина, в Филиппцево съездим, лес посмотрим – вот так лес!

²² с возрастающей силой (*итал.*)

Съездили в Филипцево, потом в Ковалиху съездили, потом в Тараканиху. И везде оказался лес. В одном месте настоящий лес, "хоть в какую угодно стройку пушай", в другом — молодятник засел.

— Вот тут ваш папенька пятнадцать лет назад лес вырубил, — хвалил Лукьяныч, — а смотри, какой уж стеколистый березнячок на его месте засел. Коли-ежели только терпение, так через двадцать лет цены этому лесу не будет.

Словом сказать, столько богатств оказалось, что и не сосчитать. Только поля около усадьбы плохи. Загрубели, задерневели, поросли лозняком. А впрочем, "коли-ежели к рукам", то и поля, пожалуй, недурны.

— Одного лозняку тут на всю жизнь протопиться станет! Мы уж сколько лет им протапливаемся, а все его, каторжно-го, не убывает. Хитер, толстомясой (то есть Дерунов)! За всю Палестину пять тысяч надавал! Ах, дуй те горой! Да тут одного гвоздья... да кирпича... да дров... окромя всего прочего... ах ты, господи!

Зрелище этих богатств поколебало и меня. Шутка сказать! В Филипцеве, по малой мере, пятнадцать тысяч сажен дров, в Ковалихе пять тысяч, в парке полторы, а там еще Тараканиха, Опалиха, Ухово, Волчьи Ямы... Срубить лес, продать дрова (ежели даже хоть по рублю за сажень очистится)... сколько тут денег-то! А земля-то все-таки будет моя! И опять пошел на ней лес расти!.. Через двадцать лет опять Тараканиху да Опалиху побоку... и опять пошел лес! А ото-

питься и лозняком можно! Лес и лозняк! Лес, лес, лес! Просто хоть сойти с ума!

Но ведь для этого надобно жить в Чемезове, надобно беспокоиться, разговаривать, хлопать по рукам, запрашивать, уступать... А главное, жить тут, жить с чистым сердцем, на глазах у всевозможных сердцеведцев, официальных и партикулярных, которыми кишит современная русская провинция! Вот что страшит. Еще в Петербурге до меня доходили, через разных приезжих из провинции, слухи об этих ново-явленных сердцеведцах.

– Теперь, брат, не то, что прежде! – говорили одни приезжие, – прежде, бывало, живешь ты в деревне, и никому нет дела, в потолок ли ты плюешь, химией ли занимаешься, или Поль де Кока читаешь! А нынче, брат, ау! Химию-то изволь побоку, а читай Поль де Кока, да ещё так читай, чтобы все твои домочадцы знали, что ты именно Поль де Кока, а не "Общепонятную физику" Писаревского читаешь!

– Теперь, брат, деревню бросить надо! – говорили другие, – теперь там целая стена сердцеведцев образовалась. Смотрят, уставив брады, да умозаклучают каждый сообразно со степенью собственной невежественности! Чем больше который невежествен, тем больше потрясений и подкопов видит. Молви ты в присутствии сердцеведца какое-нибудь неизвестное ему слово – ну, хоть «моветон», что ли – сейчас "фюить!", и пошла писать губерния.

Да, это так; в этом я сам теперь убедился, поговорив с Де-

руновым. Я был на один шаг от опасности, и ежели не попался в беду, то обязан этим лишь тому, что Дерунов сам еще не вполне обнял всю обширность полномочий, которые находятся в его распоряжении. Конечно, он не настоящий, то есть не официальный сердцеведец, он только «подспорье»... но ведь и с подспорьем нынче шутить нельзя! Посмотрит, умозаключит, возьмет в руки перышко – смотришь, ан и село на тебя пятнышко... Положим, крошечное, с булавочную головку, а все-таки пятнышко! Поди потом, соскребывай его!

Как все изменилось! как все вдруг шарахнулось в сторону! Давно ли исправники пламенели либерализмом, давно ли частные пристава обливались слезами, делая домовые выемки! Давно ли?... да не больше десяти лет тому назад!

– Ne croyez pas a ces larmes! ce sont des larmes de crocodile!²³ – еще в то время предостерегал меня один знакомый француз, свидетель этих выемочных слез.

Но, признаюсь, несмотря на это образное предостережение, я верил не ему, а полицейским слезам. Я думал, что раз полились эти слезы, и будут они литься без конца... Что в этих слезах заключается только зародыш, которому суждено развиваться дальше и дальше.

Я столько видел в то время чудес, что не мог, не имел права быть скептиком. Я знал губернатора, который был до того либерален, что не верил даже в существование тверди небесной.

²³ Не верьте этим слезам, это крокодиловы слезы! (франц.)

– Ничему я этому не верю! – говорил он, – как будто земля под стеклянным колпаком висит, и кто-то там ею ворочает – какие пустяки!

Я знал генерала, который до того скептически относился к "чудесам кровопускания", что говорил мне:

– Конечно... есть случаи... как это ни прискорбно... когда без кровопускания обойтись невозможно... Это так! это я допускаю! Но чтобы во всяком случае... сейчас же... с первого же раза... так сказать, не разобравши дела... не верьте этому, милостивый государь! не верьте этому никогда! Это... неправда!

И все это я видел своими глазами, все это я слышал своими ушами не дальше, как десять лет тому назад!

И вдруг весь этот либерализм исчез! Исправник «подтягивает», частный пристав обыскивает и гогочет от внутреннего просветления. Все поверили, что земля под стеклянным колпаком висит, все уверовали в "чудеса кровопускания", да не только сами уверовали, но хотят, чтоб и другие тому же верили, чтобы ни в ком не осталось ни тени прежнего либерализма.

"Насчет вина свободно, насчет чтений – строго!" – вот собственные слова Дерунова, которые, конечно, никогда не изгладятся из моей памяти. И какой загадочный человек этот Дерунов! Вслушиваешься в тон, которым он произносит свои «предики», кажется, что он говорит серьезно и даже с некоторою нажимкой. И вдруг прорвется нотка... ну, смеет-

ся эта нотка, да и всё тут! Смеется, словно вот так и говорит: "Видишь, какие я чудеса в решете перед тобою выкладываю! а ты все-таки слушай, да на ус себе мотай! Потому что я – столп!"

Жестокие нравы! Загадочный, запутанный мир!

Нет, лучше уйти! какие тут тысячи, десятки тысяч сажень дров! Пойдет ли на ум все это обилие гвоздя, кирпича, изразца, которым соблазняет меня старик! Кончить и уйти – вот это будет хорошо!

– Нет, Лукьяныч, мне здесь жить незачем! – сказал я однажды, когда старик с особенным рвением начал разводить передо мною на бобах.

– А почему ж бы?

– А вот почему: скажи я теперь хоть тебе, что, например, не Илья-пророк громом распоряжается...

– Что вы, сударь! Христос с вами!

– Ну, видишь! ты вот от моих слов только рот разинул, а другой рта-то не разинет, а свистнет...

– А вы, сударь, не говорите! За это тоже не похвалят.

– Знаю, поэтому и ухожу от греха. Так вот что! подыскивай-ка ты покупателя.

* * *

В течение месяца перед моими глазами прошла целая портретная галерея лиц. Я видел все оттенки любостяжания,

начиная с заискивающего, в основании которого лежит робкое чувство зависти, и кончая наглым, от которого так и пышет беззаветною верою в несокрушимую силу хищничества. Мирное Чемезово сделалось ареною борьбы, которая, благодаря элементу соревнования, нередко принимала характер ненависти. Всякий являлся на арену купли, с головы до ног вооруженный темными подозрениями, и потому не шел прямою дорогой к делу, но выбирал окольные пути. Всякий старался не только отбить у другого облюбованный кусок, но еще подставить конкуренту ногу и по возможности очернить его. Сначала меня занимала эта беспардонная игра страстей, разгоравшаяся по поводу какой-нибудь Ковалихи или Тараканихи, потому что я имел наивность видеть в ней выражение настоятельно говорившего чувства собственности; но потом, всмотревшись ближе, я убедился, что принцип собственности, в смысле общественной основы, играет здесь самую жалкую, почти призрачную роль.

Конечно, я был бы неправ, если б утверждал, что в моих глазах происходило прямое воровство, или кража, или грабеж. Но что тут в постоянном ходу было действие, называемое в просторечии «подвохом», — это несомненно. Только теперь я увидел, сколько может существовать видов «отнятия», которых не только закон, но даже самый тонкий психолог ни предусмотреть, ни поименовать не может. Весь процесс купли и продажи основан на психологических тонкостях, относительно которых немислимы какие бы то ни было

юридические определения. Вы слабохарактерны – я налетаю на вас орлом; вы тщеславны – я опутываю вас паутиной самой тонкой лести; вы недальновидны или глупы – я показываю вам чудеса в решете, от которых вы дуреете окончательно. Очень часто «подвох» является даже в самой цинической и грубой форме, без всякого участия психологии; но и тут он недоступен для изобличения, потому что в основании его предполагается обоюдное согласие. "Своими ли ты глазами смотрел? своими ли руками брал?" – таковы афоризмы, на которых твердо стоит «подвох». Две стороны находятся друг против друга, и обе стараются друг друга обойти. Не украсть, а именно обойти. Даже «дурак» не прочь бы обойти умного, но только не умеет. И только тогда, когда «подвох» возымел уже свое действие, когда психологическая игра совершила весь свой круг и получила от нотариуса надлежащую санкцию, когда участвовавшие в ней стороны уже получили возможность проверить самих себя, только тогда начинают они ощущать нечто странное. Я уже не говорю о стороне «объегоренной», "облапошенной" и т. д., которая с растерявшимся видом ощупывает себя, как будто с нею наяву произошло что-то вроде сновидения; я думаю, что даже сторона «объегорившая», "облапошившая" и т. д. – и та чувствует себя изубытченною, на том основании, что "мало еще дурака нагрели". Конечно, кражи тут нет, но, как хотите, есть нечто до такой степени похожее, что самая неопределимость факта возбуждает чувство, еще более тревожное,

нежели настоящая кража. Куда идти? где искать отмщения? Ежели искать его в сфере легальности, то ни один правильно организованный суд не признает себя компетентным в деле психологических игр. Ежели искать его в сфере так называемого общественного мнения, то все эти «рохли», "разини" и «дураки» занимают на жизненном пире такое приниженное, постылое место, что внезапный протест их может возбудить только чувство изумления.

Собственно говоря, я почти не принимал участия в этой любостязательной драме, хотя и имел воспользоваться плодами ее. Самым процессом ликвидации всецело овладел Лукьяныч, который чувствовал себя тут как рыба в воде. Покупщики приходили, уходили, опять приходили, и старик не только не утомлялся этою бесконечною сутолокою, но даже как будто помолодел.

– Вот погодите! – говорил он, спровадив какого-нибудь претендента на обладание Опалихой, – он еще ужо придет, мы его тут с одним человеком сравим!

И стравливал. Стравливал всегда внезапно, как бы ненароком, и притом так язвительно, что у конкурентов наливались кровью глаза и выступала пена у рта. Конечно, это в значительной степени оттягивало ликвидацию моих дел, но в этом отношении все мои настояния оставались бессильными. Лукьяныч не только не хотел понимать, но даже просто-напросто не понимал, чтоб можно было какое-нибудь дело сделать, не проведя его сквозь все мытарства запрашива-

ний, оговорок, обмолвок и всей бесконечной свиты мелких подвохов, которыми сопровождается всякая так называемая любовная сделка, совершаемая в мире столпов и основ.

Я, конечно, не намерен рассказывать читателю все перипетии этой драмы, но считаю нелишним остановиться на одном эпизоде ее, которым, впрочем, и кончились мои деревенские похождения по предмету продажи и купли.

Между прочим, Лукьяныч счел долгом запастись сводчиком. Одним утром сижу я у окна – вижу, к барскому дому подъезжает так называемая купецкая тележка. Лошадь сильная, широкогрудая, длинногривая, сбруя так и горит, дуга расписная. Из тележки бойко соскакивает человек в синем армяке, привязывает вожжами лошадь к крыльцу и направляется в помещение, занимаемое Лукьянычем. Не проходит десяти минут, как старик является ко мне.

- Заяц из Долгинихи приехал, – докладывает он.
- Покупщик, что ли?
- Говорит, что Волчьи Ямы купить охотится.
- Что ж, переговоры с ним!
- Стало быть, он до вас дойти хочет.
- А коли хочет, так зови.

Но вместо того чтоб уйти, Лукьяныч переминается с ноги на ногу, видимо желая что-то сказать еще.

– Только он покупатель не настоящий, – произносит он наконец, по своему обыкновению загадочно понижая голос, – у него всего и имущества вон эта телега с лошадыю.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.